



• ЮРИЙ •

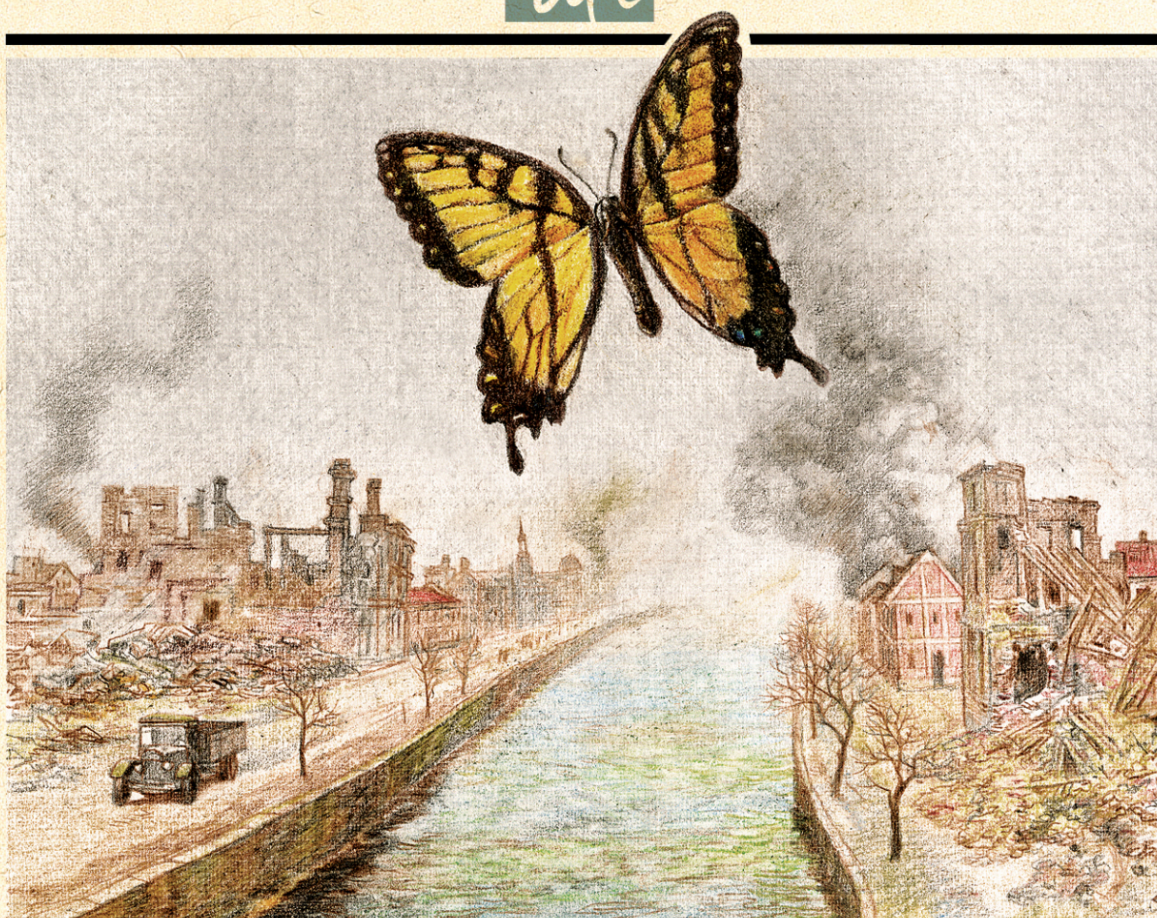


БОНДАРЕВ

Школьное



чтение



• БЕРЕГ •



Одобрено
лучшими учителями



Издательство АСТ

Школьное чтение (АСТ)

Юрий Бондарев

Берег

«Издательство АСТ»

1975

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Бондарев Ю. В.

Берег / Ю. В. Бондарев — «Издательство АСТ»,
1975 — (Школьное чтение (АСТ))

ISBN 978-5-17-155370-8

Один из самых ярких представителей «прозы лейтенантов» и едва ли не родоначальник этого направления, Бондарев предельно честен в изображении войны. Он не скрывает ее ужасов, он знает им цену, ибо на фронте не раз сам смотрел в глаза смерти. Но вопросы нравственного самочувствия для писателя куда важнее «правды войны». Бондарев стремится понять правду о человеке, убедиться в том, что любовь сильнее ненависти. В числе лучших его произведений роман «Берег», ставший культовым едва ли не на следующий день после выхода. Герои Бондарева всегда находятся между двумя берегами: жизни и смерти, любви и ненависти, порядочности и подлости. Они должны выбирать. Автор не делает выбора за них. Но всегда понятно, на чьей он стороне.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-155370-8

© Бондарев Ю. В., 1975
© Издательство АСТ, 1975

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	18
Глава четвертая	29
Глава пятая	42
Часть вторая	56
Глава первая	56
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Юрий Васильевич Бондарев

Берег

© Бондарев Ю.В., насл., 2023

© Дудин А.Л., ил. на обл., 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Часть первая По ту сторону

Глава первая

Воздушный лайнер гудел реактивными двигателями на высоте девяти тысяч метров, и здесь, в солнечном арктическом холоде, за стеклами иллюминаторов сияли глыбами, проплывали по горизонту ослепительно сахарные айсберги, а где-то в белой глубине, закрытая сплошной льдистой грядой облаков, оставалась как бы потерянная земля.

И хотя сознанием измерялась страшная глубина под чуть-чуть вибрирующим, неуклонно летящим в поднебесье полом, в теплых салонах стало уютно от солнца, от наконец начатого удачно полета после ожидания на аэродроме. Везде потянулись, заслоились по салону в плоских сверкающих лучах легкие, душистые дымки сигарет, пассажиры расстегивали привязные ремни, откидывали поудобнее спинки мягких кресел; везде зашуршали разворачиваемые газеты, розданные двумя очаровательными своими нежными, приглашающими улыбками стюардессами (будто сказочно сошедшими с реклам международных рейсовых расписаний); досасывались взлетные карамельки, которые несколько минут назад они с теми же пленительными улыбками разносили на подносах; потом уже в разных концах салона зазвучала русская и немецкая речь – мирно обволакивала общая дорожная успокоенность, безмятежность дорожного комфорта, надежда, что все обещает быть незатруднительным, удобным.

Это освобожденное чувство оторванности от всего домашнего, будничного, первоначально возникшее на аэродроме и теперь раскованно-приятное в самолете, среди открывшейся солнечной высоты, приглушенного рева мощных двигателей, услышанной чужой речи, среди благостного салонного рая, ритуально освященного улыбками длинноногих стюардесс, этих непорочных ангелов-хранителей душевного покоя в небе, – чувство не отягощенного заботами полета было знакомо Никитину, и он сбоку вопросительно взглянул на Самсонова – вместе им летать не приходилось ни разу.

Самсонов, еще опоясанный по круглому животу застегнутым ремнем, с рассеянным любопытством поворачивал голову к соседним через проход креслам – там, перелистывая на коленях журналы, громко разговаривали три пожилые, туристского вида немки, указывали дымящимися сигаретами на занавеску впереди салона, куда ушли стюардессы. Сквозь звон двигателей Никитин разобрал слова «эссен», «фрюштюк» и сказал весело – хотелось говорить о пустяках:

– Платоша, не прислушивайся к чужому разговору. О чем они? О завтраке, как я догадливо сообразил, который сейчас неизбежен? Неплохо было бы закусить холодной курицей и выпить минеральной.

– Немочки умирают от голода, – ответил, вздыхая, Самсонов. – Говорят о том, что давно позавтракали в гостинице «Метрополь» и не мешало бы подкрепиться. Они из Кёльна. Милые создания... Только услышу эту речь, и срабатывает рефлекс. Интоксикация. В войну я с ними наговорился – сыт на всю жизнь...

– Нет, Платон, холодная курица после коньяка – это вещь в самолете незаменимая.

Самсонов отпустил ремень, пошарил кнопку для откидывания спинки кресла, неуклюже откинулся, долго сопел, обратив к Никитину широкоскулое свое лицо, вглядываясь усталыми, иконными глазами – обычной колючести не было в них, а была грустная подозрительность интереса узнать причину вот этой шутливой фразы Никитина, словно бы исповедующего сей-

час этакую философию бездумного туриста, беспечно полулежащего в кресле и занятого лишь мыслью о холодной курице и минеральной воде.

– Я вижу, Вадим, что ты доволен началом нашей одиссеи. Н-да, что-то будет...

– А знаешь, я рад, что лечу к немцам именно с тобой, – сказал Никитин.

– Взаимно, – пробормотал Самсонов. – Это чувство имеет место.

Они были знакомы лет пятнадцать – семнадцать. В течение этих лет их пути нередко перекрещивались и зачастую соединялись, книги обоих выходили почти одновременно. При всей разительной несхожести манер – жесткой эмоциональности, нервной обнаженности Никитина и спокойной, выверенной прозы Самсонова, что непостижимо противоречило их внешним проявлениям, – обоих довольно прочно упоминали рядом в одних и тех же критических статьях о послевоенном поколении, и хотя оба они понимали ни в чем не совпадающую разность, их постоянно тянуло друг к другу – это объединенная одним опытом судьба поколения военных лет и что-то еще, за долгие годы знакомства не угаданное в общении, порой скрытое иронической полушуткой, даже в вечерних телефонных разговорах, приблизительно таких: «Загордился, кудесник? Не звонишь? Лежишь на диване, покуливаешь и пожинаешь лавры? Когда ты успеваешь повести строгать, классик? Негров нанял? Прочитал, прочитал. Профессор твой – ничего, девка на переправе с узкими глазками тоже ничего, а генерал – совсем не в дугу, интеллигентик он у тебя, таких не было. Вот подожди, закончу свой опус – младенцами вы все окажетесь». – «Не сомневаюсь, учитель, и жду потрясения». – «Подожди, Никитин, подожди, еще будешь проливать горячие слезы над моими страницами, – смеялся по телефону Самсонов, после чего на память говорил короткую мускулистую, прекрасную фразу, нагруженную настроением и смыслом. – Ну, позавидовал? Рвешь волосы? Вот так, ребятушки мои, писать надо. Три года обдумывал конец. Эх, какие вы ребенки еще!»

Самсонов работал чрезвычайно медленно, по строчкам, по абзацу в день, в сомнениях выдавливал слова с трудолюбивой мукой, веря и не веря в их силу, ненавидя эпитеты и все же густо насыщая ими фразу, до предельной тесноты, но при этом был всегда тонок, особо прелестен конец вещи, последние главы. Однако, когда говорили ему о некоторой стилиевой перегруженности, он держался за каждое слово, защищал его сопротивлением бычьим, багровел, загорался гневом, устраивая затяжные скандалы с редакторами издательств, и иные критики побаивались его неудержимых взрывов, ударов «под дых», иные считали его неудобоваримым крикуном, не стесняющимся грубых «кавалерийских наскоков» на собратьев по перу, ибо иногда, по случаю, встретив в кулуарах клуба какого-нибудь неосторожного критика, он кричал ему вспыхливо:

– Артельные Сократы вы, домашние правдолюбцы, жуете и пережевываете оскоминные аксиомы за рюмкой водки! Вам нравится косноязычный телеграфный стиль? Я не телеграфист! Я слишком подробен. И останусь таким! Мне наплевать и позабыть все, что вы пролепетали здесь! У меня диспепсия от вашего модного словотечения, от вашей менструации мысли. Я вас нежно люблю и обнимаю. Я иду в аптеку и покупаю касторовое масло для очищения желудка!

Эта раздражавшая многих упорная неподдаваемость Самсонова, наживавшая ему недоброжелателей и вместе почитателей (твердость уважают), более всего приближала к нему Никитина – в этом была военная косточка прошлого, та самонадеянная уверенность, что так необходима была тогда... После первой книги он привык к тому, что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его, скупно хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное суждение, причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными, грустными, горячечными. И в те минуты представлялся почему-то Никитину его кабинет, неуютный, сумрачно темный от громоздких книжных шкафов, от старинного, с чудовищно массивным чернильным прибором письменного стола, заваленного безалаберно рукописями, книгами, кругло и мелко исписанными листками бумаги, на них виднелись кольцеобразные следы, оставленные чашками кофе, который он бес-

прерывно пил во время работы, представлялась широкая тахта в углу и его руки за этим столом и на этой тахте, где он, обессиленный, лежал, уткнувшись лбом в подушку, мыча, бормоча что-то в поисках слова, фразы, – так Никитин застал его однажды, зайдя утром в часы работы.

И стоило лишь вообразить страдания Самсонова перед чистым листом бумаги, его попытку неуловимым словом, как Никитин ощущал почти стыдливое чувство – он заставлял себя сидеть за столом часов по девять, но писал легче, быстрее, независимо от нескончаемой правки, и если процесс работы Самсонова можно было назвать мучительной каторгой (четыре часа в день), то его работа была каторгой двойной по протяженности, но все же сладкой. Поэтому, когда речь заходила о книгах Самсонова, он был чересчур мягок и полуслушья говорил в таких случаях, что принимает и закономерность усложненной фразы, так как упрекать, пожалуй, следует только писателей-скворцов, беззастенчивых имитаторов чужих звуков, выдаваемых за найденные истины. Он, не желая обидеть Самсонова, не переступал порог полной искренности.

– ...Черт с ними, с немками и завтраками, – сказал Никитин, шире раздвинув штору на окне. – Посмотри-ка на солнце, Платон, и к вечности прикоснись, земные заботы забыв... Ничего себе, дуя гекзамером, кажется, отбиваю хлеб у поэтов?

– Боюсь, начнешь сейчас рывкать арии из оперетт на весь салон, – бормотнул Самсонов. – Чему восторгнулся?

– На земле осень, туман, а тут – чистота, голубизна, никакой осени – вот что прекрасно!

За иллюминатором слепил в холодном пространстве металлический блеск высотного солнца, рафинадные торосы, курчавясь, неподвижно сверкали краями остропиковых вершин на бесконечной белой равнине застывших внизу облаков. В воздухе отовсюду излучался неограниченный снежный свет, этот свет ходил вместе с солнцем по салону самолета, пронизывая дымки сигарет над спинками откидных кресел.

Самсонов нарочито равнодушно скосился на ослепляющее стекло иллюминатора, проговорил:

– Лучше скажи вот что... Литературное общество в Гамбурге, что за фрукт, что за штука? Какой ориентации? Задвинь занавеску, глаза режет...

Никитин наполовину задернул скрипнувшую штору, спросил:

– Что именно тебя беспокоит?

– Хотел бы я знать, в какие западногерманские руки мы попадем. Тебя это не беспокоит?

– Насколько мне известно из писем некой фрау Герберт, они обычно приглашают для встреч прогрессивных писателей мира. В том числе из Восточной Европы. Были поляки – мы приглашены вторыми. Но ты это знаешь.

– Положим. В общих чертах. А кто такая фрау Герберт?

– Не имею понятия, – ответил Никитин и написал пальцем на стекле невидимую фамилию «Герберт». – Судя по написанию фамилии, старушенция в белом кружевном воротничке, благородного, аристократического воспитания, влюбленная в русскую литературу, – Достоевский, Чехов, Толстой, – ну да вот прочитай ее последнее письмо...

Он достал записную книжку, вытянул из середины сложенное вчетверо письмо, и Самсонов развернул глянцеви́то-белую бумагу, плотно заполненную машинописным текстом, пошевелил бровями, стал читать, переводить, комментировать вслух:

– «Глубокоуважаемый господин Никитин! (Ах, ты, оказывается, господин. Ну, тогда все ясно... Как это тебя раньше не разглядели, при папе, не вывели на чистую воду?) Литературный клуб города Гамбурга имеет функции встречаться за круглым столом (как модны стали эти круглые столы, нет, не за столом, а на тебе – за круглым... по темноте своей понял: значит, без острых углов) ...с писателями стран Европы, обмениваться мнениями о современной культуре, проводить дискуссии на тему «Писатель и современная цивилизация» в атмосфере дружелюбия, независимо от того, в какой стране живет писатель – в системе западного капитализма или восточного коммунизма. Три ваших романа, господин Никитин, переведены

в Западной Германии издательством «Вебер», о вас писали в журналах «Штерн», «Шпигель» как о восходящей звезде на Востоке, и ваш последний роман «Дорога назад» тоже пользуется у нас большим успехом...» (Ты смотри, что делается, стал любимцем западной публики. Покорил Запад, пошибал всех с ног своей «Дорогой...» и еще сидит со скромным видом, как простой смертный!)

– Ерничай, ерничай, но мотай на ус.

– «...в среде интеллигенции и молодежи, и мне приятно сообщить вам, что в моих книжных магазинах за две недели были распроданы все экземпляры...» (Ого! Готовь чемоданы для гонорара. Хоть шерсти клочок... Разорь капитализм дотла, пускай их по миру с протянутой рукой.)

– Читай, читай.

– «Известный профессор литературы и критик из издательства «Родволь» доктор Кунц определил ваш талант как трагический, он писал, что у вас два кровных отца – Достоевский и Толстой, а между тем я думаю, что вам гораздо ближе Чехов, хотя конец последней новеллы очень тяжелый, вы так омрачаете сердце! Вы так безжалостно погубили в начале войны своих героев, что слезы выступают на глазах и с печалью долго не расстаешься. Это так грустно». (Вот тебе и фрау, выдала по первое число, как какой-нибудь бодренький критик. Пессимист ты, оказывается, певец трагических сторон!)

– Как видишь.

– «...Простите, господин Никитин, за очень смелое с моей стороны замечание, но оно ведь высказано в личном письме, и если оно вас сколько-нибудь обидело, не обращайтесь вни-мания. Писатель не должен никого слушать, кроме себя...» (О, эта фрау, оказывается, с хитрецей, ввинтила мысль о независимости писателя! Уже начала дискуссию – и все тут.)

– Читай дальше.

– «Литературный клуб хочет, чтобы вы посетили нас, и послал вам приглашение двадцатого августа, но ответа до сих пор не получил. Очень прошу ответить, как скоро можете вы быть в Гамбурге. Если у вас есть возможность посетить наш город в срок между десятым и двадцатым ноября, то мы сделали бы все, чтобы это пребывание было приятным. Если вы не разговариваете на немецком языке, то будем рады вашему приезду с переводчиком. Примите с уважением и признательностью привет от вашего издателя, господина Вебера. С самыми наилучшими пожеланиями и ожиданием. Эмма Герберт, член Литературного клуба. Пэ-Эс. Сообщите перед вылетом рейс самолета, и на аэродроме в Гамбурге я буду встречать. Надеюсь, узнаю вас по фотографии, помещенной в вашей книге, в том случае, если вы, конечно, сильно не изменились».

– Любо-пытно и занят-но, – сказал Самсонов, возвращая письмо Никитину, и, потянув воздух носом, возвел грустные, иконные глаза к потолку салона. – Будут рады и переводчику. В качестве инкогнито из Иностранной комиссии. Красиво! Я – переводчик. Вдвойне красиво! Бросил собственный роман на сто двадцатой странице, лечу в Гамбург, страдаю из-за тебя, как дурушлеп. Во имя каких благ? Не хватит коньячку, чтобы расплатиться со мной. Так-то! Но зачем я тебе как переводчик? Ты сам способен лезенунд шпрехен дойч!¹ Для свиты, что ли, предложил меня?

– Мои знания в немецком языке по сравнению с твоими – горькие рыдания, – ответил Никитин. – Я хотел, Платон, чтобы именно ты поехал со мной. И не в качестве переводчика. Это проформа для Иностранной комиссии. Вдвоем нам будет легче во всех смыслах.

Самсонов снял очки и, кулаками протирая глаза, шумно зевая, заговорил фальшивым, сквозь зевоту, голосом:

¹ Читать и говорить по-немецки! (Здесь и далее – переводы с немецкого языка. – Ред.)

– Жалко мне тебя, господин Никитин, что-то подозрительно шибко начали ласкать тебя на Западе. Смотри – головка не закружилась бы. Не вознесись в гордыне, не выпрыгни из штанов. Это я по поводу письма и прочая... Опасаюсь – кино тебя развратит, легкие деньги и всякие западные поклонницы типа госпожи Герберт. Паришь как ангел, не приземлишься как черт.

Он снова зевнул, широко, по-сомовьи распахивая рот, отчего получилось растянутое завывание «аха-ха-ха-а», и Никитин засмеялся, сказал:

– Постараюсь следовать твоим руководящим указаниям, учитель. Зеваешь же ты в высшей степени заразительно. Неужели спать?

– Так вот, звезда Востока, вникни во все, рассчитай, подумай, сообрази, как жить дальше, а я минут пять шляфен, шляфен...

Самсонов скрестил руки на груди, прикрыл веки, глубоко дыша носом, лицо стало отрешенным, страдальчески сердитым, какое бывает в моменты отдыха у переобремененных постоянными заботами людей. Он задремал или хотел задремать после усталости суетных волнений, аэродромного ожидания, долгих разговоров, и толстоватые руки его, скрещенные на груди, его поза выражали покойное достоинство знающего себе цену человека.

«За кого сейчас его можно принять? – подумал Никитин, веселея, представив чужой взгляд на Самсонове. – Состоятельный отец семейства. Благополучен, обаятелен в своей полноте, дела идут хорошо. Чем-то озабочен, хотя все стабильно. Что еще? Благоразумен, аккуратен, любит порядок в своем доме. Портрет не сомневающегося в истинах человека. Литературные реминисценции. Но почему я подумал об этом? Да потому, что отлично, – мне будет легче с ним...»

Глава вторая

Еще чувствовалось подрагивание, невесомое ныряние пола самолета, еще звучал в заложенных ушах звенящий рев двигателей при посадке, поэтому, когда вместе с группой пассажиров они вошли через пневматические двери в стеклянное здание гамбургского аэропорта, окликнувший женский голос нечетко дошел до них:

– Господин Никитин?..

Довольно высокая, в темном костюме женщина лет сорока, с прядями чистой, аккуратной седины в каштановых волосах, улыбаясь им издали, сразу же быстро направилась к обоим из толпы встречающих около дверей первого зала, и Никитин, тоже улыбаясь, поставил тяжелый от четырех бутылок коньяка портфель, не вполне твердо проговорил на немецком языке:

– Госпожа Герберт! По-моему, я не ошибся? Здравствуйте! Да, я Никитин. А это мой друг – писатель Самсонов. (Самсонов, чрезмерно корректный, сдержанно кивнул фрау Герберт.) Значит, вы все же узнали меня? По фотографии? Неужели?

– Да, да, господин Никитин. Я очень рада, что вы приехали! Мы так долго ждали вашего приезда! Мы уже потеряли всякую надежду...

Она неожиданно крепко ответила на его рукопожатие, она смотрела ему в лицо, и в ее молодых, не соответствующих седине, возбужденно-радостных синих глазах мелькало подавленное улыбкой выражение, похожее на испуг и растерянность. Она повторила:

– Да, да, господин Никитин... Я прошу вас к машине. Она здесь недалеко. Нет, сначала мы получим вещи. Как вы чувствуете себя после самолета?

– Терпимо, – ответил Никитин. – Спасибо, кажется, живы оба.

И когда, получив вещи в зале багажа, вышли из здания аэропорта и фрау Герберт, не расслабляя на губах улыбки, незамедлительно повела их к стоянке машин, Никитин заметил, как на ходу она слишком торопливо принялась дергать, расстегивать сумочку, доставая, по видимому, ключ от зажигания.

– Господа, только одну минуту... Мы сейчас поедem в отель. Чемоданы, пожалуйста, в багажник. Если вам удобно, господин Никитин, то сядьте рядом со мной. Так будет лучше разговаривать.

Машина госпожи Герберт, новый, весь влажно отливающий лаком вишнево-коричневый «мерседес», была удобна, вместительна – погруженные два чемодана поглотил огромный багажник, и здесь, в машине, сев возле фрау Герберт, Никитин внятно почувствовал пряный запах невыветренных духов, разбавленный горьковатой химией синтетической обивки, запахи чужой жизни, чужих вещей, всегда обостренно воспринимавшиеся им вдали от дома, и подумал томительно: «Вот я и опять за границей».

– Сигарету? – спросила фрау Герберт. – Господин Никитин? Господин Самсонов?

– Спасибо, я до чертиков накурился в самолете. Подожду.

– Аналогично, – ответил Самсонов. – Воздержусь.

А она, снова торопясь, подергала замочки, расстегнула на коленях сумочку, тотчас вынула пачку сигарет, зажигалку, закурила с жадностью, выдохнула дым, толкнувшийся в ветровое стекло, потом стала натягивать перчатки, тесные, скрипящие тонкой кожей.

– Простите, одну минуту... – проговорила она. – Вы первый раз в Гамбурге, господин Никитин?

– Вы спросили, первый ли я раз? Да. Я вас прошу, фрау Герберт, говорить медленно. Иначе не пойму с непривычки.

Она виновато поморщилась, на левую руку ее тугая и узкая, как змея, перчатка полностью не натягивалась, никак не поддавалась – тогда она сорвала ее с пальцев, скомкала, бросила на

сиденье, к сумочке, и спросила очень медленно, поворачивая машину на мокрый брусчатник мостовой:

– Но хоть раз... когда-нибудь вы были в Германии, господин Никитин?

– Был в войну. Сорок пятый год, фрау Герберт.

– В Берлине?

– Нет, в трех городах. Берлин, Потсдам, Кёнигсдорф. Однако Кёнигсдорф – это дачный, маленький городок, вы можете его и не знать, – сказал Никитин.

– О боже мой, вы были в Германии! – одними губами выговорила она и, неуголенно затягиваясь сигаретой, спросила, выделяя каждое слово: – Скажите, господин Никитин, неужели мы все еще помним, что была война?

– К сожалению, фрау Герберт.

Он отвечал ей так же замедленно, вникая в звук немецкой речи, в растягиваемые ею точно на домашнем уроке фразы, и, отвечая, не без интереса глядел по сторонам на сумрачно-серый, ноябрьский, сыплющий мелким дождем город, насквозь сырой, набухший влагой, прижатый низко огрузшим над крышами пепельным небом, на рано зажженный свет за витринами магазинов, на непрерывное движение черных зонтиков по тротуарам, на их густое скопление на переходах под светофорами.

Он смотрел на обмытую, еще не по-осеннему зеленую траву тщательно подстриженных газонов, по которым ходили нахохлившиеся чайки, и подсознание привычно пыталось задержать и ту морскую сырость, и сумеречность осенних улиц, и это скольжение мимо витрин одинаково влажных креповых зонтиков в туманце дождя, и механическое мигание на перекрестках светофоров, сразу сдерживающих и сразу выпускающих в ущелья улиц одержимые скопища машин. Непроизвольное запоминание, эгоистическая работа подсознания были второй сущностью Никитина, хотя он и знал, что многое, к сожалению, забудется позже, останутся лишь размытые временем детали или первые запахи, как запах химии и духов в машине, или вот этот быстрый жест, каким сорвала тесную перчатку фрау Герберт после того, как попыталась и не хватило терпения натянуть ее до конца, или как жадно прикурила она от крошечной золоченой зажигалки, дрожавшей в руке.

Он поглядел на нее вопросительно. Она нервным жестом стряхивала пепел с сигареты в выдвинутую пепельницу, невнимательно остановив взгляд на водяной пыли, лужицами оседающей на капоте, и Никитин, разом ощутив промозглую влагу гамбургских улиц, постукивание капель по зонтам, запах синтетических плащей в теплоте магазинов, где уже бледно горел внутри неоновый свет, сказал по-русски:

– Как осенний день на Невском. А, Платон?

– Кисель, – отозвался Самсонов, завозившись за спиной. – Гамбургские прелести. Дождя нам еще здесь не хватало. Не могу, знаешь ли, с некоторых пор относиться к чертовой мокряди с равнодушием утки. Опасаюсь закрихтеть от радикулита.

– Простите, пожалуйста, за интермедию на русском языке, – сказал Никитин, обращаясь к госпоже Герберт, и пощелкал пальцами, подбирая фразу: – Мы говорим о том, что старые солдаты не любят осень. Потому что осенью начинают болеть раны. Грустная пора... – добавил он полушутливо. – Вы понимаете?

Было похоже, она поняла его, даже уловила нечто большее, чем он вкладывал в свою фразу. Она взглянула пристально, дрогнула мягкими линиями бровей, четко темными по сравнению с белыми прядями волос, сказала пресекающимся от затяжки сигаретой голосом:

– Наверно, господин Никитин, мы все переживаем грустный возраст осени, когда ушло лето. Но после осени наступает зима. И тогда еще хуже. Зимой всем людям бывает так холодно... И даже у вас в России. Ведь возраст человека не имеет государственных границ.

– Вероятно, – усмехнулся Никитин. – Здесь никакие русские валенки не спасут.

«Дворники» с однотонным трущимся звуком махали по стеклу, равномерно растирали мелкую, почти невидимую пыль нудного дождя; обдавая влажным шелестом, мимо запотевших окон справа и слева настигал, обгонял, проносился, гудел моторами соединенный металлический поток машин, нетерпеливо выбрасывая бензиновые клочья тумана на чернильный асфальт, устланный прилипшими листьями; и все так же скапливались, скользко блестели, толпились, бежали намокшие зонтики через переходы на перекрестках. Эти ноябрьские улицы Гамбурга, затянутые ненастными сумерками, с неурочным светом в магазинах и барах, вдруг показались Никитину совершенно промозглыми, тусклыми, обволакивающими машину знобкой сыростью – и захотелось скорей в отель, в теплый номер, уютный своей чистотой, тишиной, свежей постелью, захотелось переодеться, побриться, как обычно на новом месте, и сойти потом в ресторан, посидеть за чашечкой горячего, душистого кофе и тут обстоятельно расспросить фрау Герберт о дальнейшей программе, связанной с их приездом. Но при выговоренном ею слове «Россия», как это часто бывало за границей, он вообразил где-то очень далеко в скромном блеске московских фонарей вечерние переулки Арбата, оставленное им позади неизмеримое пространство, отделившее его на некий срок от забот, обязанностей, ежедневной работы за столом, к которому вернется, уже мучимый угрызением совести, уже невыносимо соскучась по дому, по кабинету, по притягательному и страшному в ожидающей непорочной тайне приготовленному листу бумаги, – и, вмиг представив сладкое удовольствие своего возвращения и пытаясь вновь настроиться на волну разговора, сказал, скрупулезно соблюдая грамматическое построение:

– Если говорить о моем поколении, фрау Герберт, то молодыми, неунывающими и особенно счастливыми мы были весной сорок пятого года. Война кончилась. Все начиналось. А нам было чуть больше двадцати. Вот это было прекрасно. Я почему-то об этом подумал, фрау Герберт.

– Мальчишка, – басовито подал голос Самсонов. – Мне уже в ту пору стукнуло двадцать четыре. Экое ты дите был. Интересуюсь: детские пеленочки не возил в передке орудия?

– Больше того, патриарх, пеленки сушили на оружейных стволах после каждого боя... Извините, фрау Герберт, мы опять обменялись со своим другом любезностями на русском языке. Любезностями солдатского толка.

Она промолчала, струей выпуская дым в ветровое стекло.

– Но... можно надеяться, вы и сейчас не унываете, господин Никитин, – осторожно проговорила фрау Герберт. – Вы, я думаю, счастливы, здоровы. У вас ровное, хорошее настроение...

Никитин не совсем точно поймал оттенок смысла последней фразы и пощелкал пальцами, попросил помощи у Самсонова:

– Платон, будь добр, последнюю фразу переведи на язык родных осин. У меня всегда хорошее... и какое настроение?

– Ровное настроение, счастливый господин Никитин, – уточняя, перевел Самсонов и испустил носом протяжный звук: – Мм... Добавлю: производишь впечатление легкомысленного человека, учти на будущее. Если от желчи болтаю пошлости я – мне начхать, тебе не позволено. Неси на себе печать счастливой солидности, классик. Так-то!

– Благодарю, ясно. Теперь переведи-ка мой ответ, я могу напутать, сложный оборот, черт его дери, – сказал полусерьезно Никитин. – Простите за грубость, госпожа Герберт. Но кажется мне, что в моем возрасте ежесекундно и непробиваемо счастливыми могут быть лишь самодовольные дураки. Ровное же настроение спасет от многого. В том числе и от самого себя. Правда, не всегда удастся.

– Я не хотела, господин Никитин...

Она обвела его лицо удивленно расширенной синевой глаз и, не закончив фразу, поспешно заговорила о другом:

– Господа, мы скоро подъезжаем. Вы будете жить в старинном и уютном отеле «Регина», который вам должен понравиться. Это за углом, господа.

Она остановила машину перед стеклянным подъездом отеля в узкой, заросшей деревьями улице, сравнительно отдаленной от непрерывно шелестящего шума, от ревающего потока машин, в котором все время двигались по городу, и здесь, взяв чемоданы из багажника, они вошли в просторный пустынный вестибюль, застланный коврами, по-особенному тихий, где не слышен был даже бегущий по асфальту стук дождя. Отовсюду веяло домашними запахами старой мебели, устоявшимся покоем, и, выражая услужливую приветливость на упитанном вежливом лице, вышел навстречу из-за стойки человек («Гутен та-аг!»), тоже по-домашнему спокойный, размеренный в каждом жесте. Он шепотом сказал что-то утвердительное фрау Герберт, воспитанным кивком пригласил Никитина и Самсонова к стойке, попросил паспорта и после минутной процедуры заполнения регистрационных бланков уважительно вынул из круглых гнезд ключи номеров с прикрепленными к ним маленькими деревянными грушами, подхватил чемоданы и, отражаясь в зеркальной стене, пошел к лифту в глубине вестибюля.

– Большое спасибо. Вы нас прекрасно довезли, фрау Герберт, – сказал Никитин. – Каково теперь дальнейшее?

– Говорить медленно, господин Никитин?

– Пока да, мне надо еще привыкнуть. Иначе замучаем переводом господина Самсонова. Она улыбнулась.

– Я думаю, вы устали после самолета и вам нужно отдохнуть. Но вечером я буду очень рада видеть вас у себя дома. Я заеду в семь часов. Теперь... пожалуйста, посмотрите свои комнаты, если хотите, переоденьтесь и спускайтесь вниз минут через десять. Я буду ждать вас в ресторане. Разрешите мне немножечко выпить с вами. Как это? На ваше здо-ровь-вье-е? – по-русски добавила она протяжно и с некоторым смущением щелкнула пальцами, как это делал Никитин, отыскивая немецкие слова. – Так по-русски? Или я ужасно сказала?

– У вас прекрасное произношение, фрау Герберт. Через десять минут мы вниз.

В скоростном лифте они поднялись на пятый этаж и, выйдя в напоенный теплом длинный коридор, зеленеющий пушистой синтетической дорожкой, быстро нашли номера своих комнат, расположенных рядом: двери предупредительно полуоткрыты, ключи в замках, чемоданы внесены.

В номере Никитина было по-осеннему сумеречно, и легонько, вкрадчиво царапали капли дождя по стеклу. Никитин снял плащ, нашел выключатель, зажег свет – и тут же пленительно засверкали свежестью, чистотой два белоснежных конверта-постели на широкой двуспальной кровати, выделились стерильной белизной подушки, казавшиеся даже на вид успокоительно-нежными, манящими покоем под кокетливыми в изголовье абажурчиками наподобие юбочек; полированно засияли деревом большой бельевой шкаф, полуписьменный, с конторками и приемником стол на тонких ножках, журнальный столик, осененный розовым куполом торшера, в окружении трех мягких кресел.

«Все педантично начищено и прибрано по-немецки», – подумал Никитин, развязывая галстук, и прошел в ванную, чуть пахнущую озонатором, ярко залитую люминесцентным светом прямоугольных плафонов, чистоплотно блещущую зеркалами, кафелем, никелем вешалок, где над безупречной голубизной умывальника, заклеенного бумажной ленточкой «стериль», приятно белели разглаженные личные и мохнатые полотенца; затем он вошел опять в комнату, повалился в благодатно вобравшую его глубину кресла, вытянул ноги, наслаждаясь тишиной, удобствами, подумал:

«Что ж, вот отсюда начинается отельно-ресторанная жизнь вперемежку с дискуссиями, приемами, аперитивами и разговорами. И десять дней, глубокоуважаемый Вадим Николаевич, покажутся вам вечностью, несмотря на заграничные апартаменты и радостный прием, оказан-

ный какой-то не очень ясной фрау Герберт. Устанете, как черт в преисподней. Что ж, если уж приехали, то пусть жизнь идет так, как она идет, не торопить ее, не ускорять...»

Он не хотел в эту минуту думать о том, что осталось позади, далеко отсюда, за дождливым тысячекилометровым пространством, он не хотел думать о доме, потому что знал: через неделю начнется сумасшествие – неистребимая тоска по своему кабинету, по жене, по предзимнему ноябрьскому холодку московского воздуха.

«Все пока отлично», – подумал Никитин и живо достал из чемодана галстук, купленный в Париже, свежую, тоже парижскую рубашку и, уже с удовольствием переодеваясь, чувствуя начало новой, праздной жизни, услышал стук в дверь, басок Самсонова:

– Готов? Не забывай, классик, нас ждет женщина.

– Заходи, рюмочку по-мужски не хочешь? В честь приезда, – сказал Никитин, продевая в манжеты запонки, и показал глазами в сторону расстегнутого портфеля. – Пока я тут, как видишь, занимаюсь экстерьером, достань, раскупорь и разлей по стаканам граммов по пятьдесят.

– Гляди-ка, тебе – приемник, а мне – транзистор, фитюльку, номера рядом, а классовое неравенство явное, – басил, скептически озирая комнату, Самсонов, при помощи зубов и дверного ключа раскупорил вынутую из запасов Никитина бутылку и, зазвенев стаканами на столе, разлил коньяк. – Ну, давай за мягкое приземление на земле гамбургской. Доложу тебе, что ты очаровал фрау Герберт. Заметил, как она на тебя смотрит? – Он понюхал коньяк. – Ах, аромат!..

Никитин надел облегающую тело прохладную полотняную рубашку, надел пиджак и с тем же удовольствием обретенной чистоты и с тем же ощущением беззаботности взял стакан, коричнево блеснувший сквозь стекло коньяком, стоя чокнулся с Самсоновым, выпил эту крепкую, пахучую жидкость, разлившую веселое тепло в груди, крикнул, сказал:

– Хорошо пошло, прекрасно! Что касается твоей наблюдательности, то она у тебя, Платоша, шерлок-холмсовская.

– Прошу под коньяк. – Самсонов извлек из кармана две карамельки, одну протянул, как подарок, Никитину. – Закуси. Запасся в самолете. И двинем вниз, к фрау Герберт.

Посасывая карамельки, они спустились на лифте в вестибюль и тут, среди ковров, впитывающих шаги, среди зеркал и полумрака, сверху подсвеченного матовыми плафонами, заметив приветливый кивок из-за стойки знакомого портье, уже расположено сказали ему «данке» и вошли в ресторан, странно пустой, притемненный, на стенах неярко горели бра, за огромными окнами серел водянистый сумрак, липли к стеклам дождевые капли.

Госпожа Герберт, гладко причесанная, приведшая себя в порядок, губы подведены, вся опрятная в своем темном костюме, сидела за столиком подле окна, закинув ногу на ногу; она оторвалась от карты меню, встретила их улыбающимся взглядом.

– Господа, мы должны решить: что мы будем пить и есть?

– Что-нибудь легкое. Чуть-чуть нежирной ветчины, сыр, кофе, что-то вроде завтрака, – ответил Никитин и положил на скатерть сигареты, предложил фрау Герберт: – Попробуйте советские. Крепковаты, но ничего.

Она аккуратно отшлифованными ногтями вытянула сигарету из пачки, попыталась прочитать название, но не прочитала и засмеялась.

– О, русские!.. Я не люблю легкие, и вы, пожалуйста, попробуйте. – И пододвинула к нему немецкие сигареты. – Но главное – что же пить? Коньяк? Виски? Немецкую или русскую водку?

– Русскую водку полагается пить в Москве, – отозвался Самсонов тоном притворного глубокомыслия. – В Германии, надо полагать, – немецкую. Я не совершил ошибку, господин Никитин?

– Если ты и ошибся, то ошибся гениально, – сказал по-русски Никитин и смело перешел на немецкий: – Немного вашей водки, фрау Герберт. Вкус шнапса со времен войны я уже совсем забыл.

– О нет! Теперь это другая водка, с войны прошло так много лет, все изменилось, – возразила госпожа Герберт, виновато взглядывая на Никитина, и сейчас же обернулась в затемненный зал. – Герр обер!..

Метрдотель, неслышно возившийся неподалеку, занятый сервировкой столика, подошел мягкой походкой, принимая такое же неподобострастное выражение, что было давеча и на лице старшего портье, вопрошающе наклонил к фрау Герберт лысую, в обводе седых волос голову; его накрахмаленная грудь, черный галстук-бабочка подчеркивали выработанный аристократизм солидного ресторана, его белая холеная рука, синхронно повторяя каждое слово фрау Герберт, автоматическим карандашом заскользила по блокнотику. Потом опять благородный наклон головы, и опять бесшумной походкой незаметно удалился он в ровную полутемноту безлюдного в этот необеденный час зала.

– Господин Никитин, ваш гамбургский издатель, о котором я писала вам в письме, надеется сегодня встретиться с вами у меня, – заговорила госпожа Герберт и поставила сумочку на колено. – Он просил меня заранее передать вам благодарность и... гонорар за последнюю вашу книгу. Три с половиной тысячи марок. Он, несомненно, мог бы заплатить гораздо больше. Но, к сожалению, между нашими странами не существует авторской конвенции. Господин Вебер богатый человек и не из тех, кто легко расстается с деньгами. – Она смущенно улыбнулась и передала Никитину довольно толстый конверт, украшенный типографским готическим оттиском издательства «Веберферлаг», следом вытянула из сумочки еще два конверта потоньше, договорила: – И здесь от нашего Литературного клуба карманные деньги, по восемьсот пятьдесят марок, вам, господин Никитин, и вам, господин Самсонов.

– Спасибо вам и моему издателю, – сказал Никитин. – Не было ни гроша, да вдруг алтын. Это успокоительно.

– Миллионер, Рокфеллер, увезешь из Гамбурга запакованный в целлофане «мерседес». – Самсонов переложил деньги во вместительный бумажник, подумал и прицелился очками на фрау Герберт: – Интересно, а как же расходилась, то есть как раскупалась, последняя книга моего уважаемого коллеги?

– Была реклама, и книга разошлась как роман о советской интеллигенции в годы десталинизации. Господин Вебер хорошо знает, как можно вызвать интерес к восточному писателю, и умеет нажиться, – ответила фрау Герберт, в то же время наблюдая за Никитиным, который небрежно затискивал конверты во внутренние карманы, и внезапно спросила с растерянной заминкой: – Вы никогда не считаете деньги? Разве считать не принято в России?

– Принято, и считаю, – сказал Никитин. – Но, кажется, мировой известностью пользуется немецкая аккуратность.

– О, это постепенно исчезает, господин Никитин.

– Даже в Германии?

– В России, наверно, плохо знают новую Германию.

Усталости сейчас не чувствовалось, как это было в машине на пути из аэропорта; после выпитой в номере рюмки коньяка было ощущение начатого движения по течению, без насилия над волей, без напряжения, потому что все шло отлично, может быть, лучше, чем ожидал: и приезд, и отель, и эти дурные деньги, присланные издателем, и деньги Литературного клуба безоглядно освобождали его и Самсонова от унижающей бытовой стесненности. Кроме того, он теперь яснее понимал манеру речи фрау Герберт, милую медлительность ее интонации, увереннее справлялся с немецкими фразами – и появилось благодатное ощущение заграничного отдыха, заслуженного перерыва в работе, и не мучило разъедающее угрызение совести, что бывало дома в пустые дни, когда не находились точные фразы на измаранном листе бумаги.

Между тем официант ловко и быстро расставил на столе крошечные рюмки, на одну треть наполненные водкой, серебряные кофейники с изогнутыми по-восточному носиками, распространявшие горьковатый аромат кофе, маленькие фарфоровые молочники с горячим молоком, белые свежие булочки в корзинке, застеленной салфеткой, тонкие ломтики черного хлеба и на розетке квадратики масла, замороженные в холодильнике, покрытые капельками влаги.

И все это: ледяная, лишенная запаха водка («Ваше здоровье, госпожа Герберт»), и хрустящие булочки, намазанные маслом, и ветчина на пряно-сладковатом черном хлебе, и ароматный турецкий кофе, и пахучие пластинки сыра – показалось Никитину вкуснейшим; и он почти наслаждался какой-то бездумной физической своей легкостью, этим поздним завтраком, и этой тишиной пустого ресторана, и беспрерывно морозящим ноябрьским дождем на гамбургской улице за окнами.

Глава третья

– Гамбург брали, если не ошибаюсь, англичане? Но любопытно – развалин нигде нет.

– Не брали, Платон, а вошли в сорок пятом. Предварительно разбомбили несколько кварталов и вошли весело и нетрудно. Бомбили – и потом заняли город, хотя тут им не сильно сопротивлялись. Разрушенные кварталы немцы, конечно, восстановили.

Дождь не переставал, нудно сеял над Гамбургом водяной пылью, серая мгла висела в воздухе. Скользкий тротуар сально блестел, мимо проносились, шелестели, отражались в асфальте отлакированные дождем железные стада машин; загорались то зеленым, то красным светом силуэты шагающих человечков на указателях светофоров, магически дисциплинируя скопления мокрых зонтиков и непромокаемых плащей перед границами переходов; неоновую бледность источало кренделеобразное «U» над спусками в метро; тускло зеленела трава бульваров, мокли в лужах ржавые листья, а по желтым островам листьев бродили на газонах чайки, взъерошенные, озябшие, – пахло поздней осенью, было сыкотно, промозгло, дышало сырой тяжестью близкого моря.

– Есть чему удивляться, – вполголоса говорил Никитин, мимолетно всматриваясь в буднично-спокойные лица прохожих. – Ходим мы с тобой по земле немецкой, откуда все началось, и, ей-богу, не верится, чтобы вот этот, например, добропорядочный дядя... – он взглянул на пожилого утомленного человека в клетчатом плаще, равнодушно покуривающего у дверей бара тоненькую дешевую сигарку, – чтобы этот вот дядя во всю глотку орал «хайль» и стрелял в тебя или в меня под Сталинградом... Или вот этот? – И он опять перевел глаза на маленького, благодушного вида немца, приметного оттопыривающим пальто брюшком, который, выйдя из магазина, в одной руке держал зонтик над головой, а другой открывал ключом дверцу обляпанного грязью «фольксвагена» близ кромки тротуара. – Непохоже? Отец семейства, любитель пива, балагур, по вечерам усаживает детей на колени... Само добродушие. Мог он стрелять? Или расстреливать? Вешать? Вот штука, Платон, вот дебри...

– Кто же в конце концов орал «хайль» и стрелял? – заворчал Самсонов. – Все, оказывается, милые, добрые, прекрасные люди... Кто же стрелял?

– Не «кто», наверно, а «почему» и «зачем» – в этом суть.

– Вряд ли физиономии что-либо объяснят, Вадим. Наоборот, запутают.

– Посмотрим, посмотрим...

Возле каменно-прочного, дочерна закопченного вокзала с зажженной сверху синеватой буквой «S», с освещенными в утробе его огромными залами, похожими на магазины, Никитин задержался перед стеклянным газетным киоском, долго искал в пестро заваленной и завершенной иллюстрированными журналами витрине красочные суперобложки книг, поочередно читая заглавия вслух:

– «Кэнди». Роман о молоденькой девушке. «Убийство в Мадриде». Ясно. Что же у них в моде? Поправляй, Платон, если не так переведу. Франц Кафка уценен. Видишь? С двадцати шести марок на семнадцать. Чем объяснить? Недавний кумир Запада. Дальше – новинка в углу. «Письма Петэна жене из тюрьмы». Так, любопытно. Что этот субъект писал ей? «Тропик Рака» Генри Миллера. Эротический роман. Понятно. А это что? «Вторая мировая война». Уже интересно. Вот эту бы книжицу надо все-таки перед отъездом приобрести.

– Погляди в правый угол, на красный переплет, – сказал Самсонов, прислоняясь очками к стеклу витрины. – Цитатник Мао. Хо-хо! Рядом – «Умер ли Гитлер?». Интересно, кто покупает?

– Об этом надо спросить фрау Герберт. «Умер ли Гитлер?» тоже надо бы купить.

– Уверен? А таможня? Случайный осмотр? «Есть ли зарубежная литература?» И пошла писать губерния.

– Обойдется. Эти книги покупаются для личного пользования, а не для публичных библиотек. Все надо знать, абсолютно все.

– А что знать? Что не ясно? Кто стрелял, объясню. Все, Вадим, все, кому сейчас больше сорока двух. То, что некогда у нас писали о Гитлере: «сумасшедший», «бесноватый ефрейтор», «паралитик», – объяснения неточные. Это была дьявольская личность, обладавшая силой внушения. Когда он произносил речи, немцы, в особенности женщины, рыдали от восторга. Известно тебе?

– Ясно, ясно, да не совсем. Детали, существенные детали туманны, Платон. Кто они, эти западные немцы сейчас? Что они? Те ли они? До сих пор не могу забыть «бефель»² о трех солдатских добродетелях: «Верь в фюрера, повинуйся, сражайся...» Ладно, посмотрим. Ни в какие музеи мы, конечно, не пойдем. Музеи затуманивают все к черту. Сделаем одно исключение. Посмотрим памятник погибшим и порт. Главное – лица, лица на улицах и глаза... Согласен?

– Принимаю.

– Тогда – айн момент, уточним, где памятник.

Никитин расстегнул зашелестевший плащ, достал из бокового кармана план города, взятый в отеле, посмотрел на сеть улиц, сразу обсыпанную мелкими каплями дождя по глянцу бумаги, сказал, пряча план:

– Далековато отсюда. Но потопаем пешком, что ли? Согласен? Хочу поглазеть на улицы. Пострадаешь?

Подобно тому как первоначальное расположение и нерасположение к незнакомому человеку определял в большей или меньшей степени внешний облик его, так и первое ощущение неизвестного города (и не только за границей) подчиняло Никитина доверчивой силе толкающего любопытства, и его притягивали хаотичность живой толпы, кипение ее на тротуарах, теснота метро и трамваев, переполненные пивные, маленькие, шумные, накуренные кабачки, торговые улицы, где ежесекундно появлялись, мелькали, хмурились, улыбались, возникали как бы из вечности и тут же пропадали навсегда чужие лица, обрывки недослышанной фразы, взгляд, смех, чей-то жест...

И это всегда высекало искру волнения, и это, казалось, разрушая нечто свое, личное, соединяло его со всеми впервые увиденными людьми, и вместе неудовлетворенно разъединяла его с ними непознанная скрытность их жизни, в которую хотел проникнуть и не мог. Может быть, поэтому он любил заглядывать в окна, мучаясь неутоленным угадыванием нераскрытого. Забыто не задернутая занавеска, тень женщины, расчесывающей перед зеркалом волосы в глубине комнаты (одна она, кто с ней, кто она?), темные дворы, наполненные тишиной ночи, обшарпанные парадные, таинственные лестничные площадки, отзвучивающие гул дальних шагов, стук двери на верхнем этаже, городские автоматные будочки, сплошь исцарапанные по стенам номерами телефонов и именами, оставленная на сиденье пустой машины пачка сигарет или забытый развернутый журнал на бульварной скамье вызывали у него то чувство ожигающего прикосновения к загадочной человеческой жизни, какое испытал однажды еще в детстве, когда случайно нашел на улице кем-то потерянный кошелек, новенький, сшитый из бордовой кожи, сверкающий золотистым замочком. Кошелек этот с томительным ощущением непонятной вины был спрятан им в сарае-голубятне на заднем дворе за поленьями березовых дров. И иногда, сидя в полосах солнечных стрел сквозь щели, в душном запахе перьев, сухого помета, он часами разглядывал кому-то принадлежавшие вещицы – крохотный перочинный ножичек, аккуратно сложенные три рубля, тюбик красной, сладковатой на вкус помады, стертой сбоку о чьи-то губы, – и, переживая тайное волнение, представлял эти вещи в чьих-то руках, представлял лицо, фигуру, голос незнакомой женщины. Он видел ее молодой, грустной,

² Приказ.

такой же изящно красивой, как и перламутровый ножичек, одинокой в своей комнате, где окно выходило на кирпичную пожарную стену, обогретую ранним солнцем по утрам. Но эта воображаемая им женщина не была похожа ни на одну из женщин в их доме и во всем замоскворецком переулке, у нее не было отличительных черт лица, фигуры, походки, она была лишь красивой, молчаливой, печальной, окруженная полутенью прохладной уютной комнатки, в которой обязательно должны быть старинный комод и зеркало. И тогда он воображал, как воровски летним утром подкрадывается к раскрытому окну незнакомки и бросает на розовеющий подоконник этот маленький чужой кошелек, сохранивший ножичек, губную помаду и три рубля, весь млея от рыцарского восторга, слышит ее изумленный вопрос: «Кто это?»

То детское неудовлетворенное любопытство давно было забыто в подробностях Никитиным, оставалось тихим, смутным отсветом, однако и в зрелые годы жажда узнавания скрытой чужой жизни приносила ему почти болезненное удовольствие.

– Вот он, – сказал Самсонов. – Читай. «В память солдат и офицеров, погибших и пропавших без вести во вторую мировую войну. 1939–1945 годы». Дальше: «Германия останется, если даже мы все погибнем».

– Что ж, сильно сказано, – проговорил Никитин. – Давай-ка рассмотрим, Платон.

Этот памятник был тяжел, мрачен, чернел смоченным дождем камнем, немо, угольно выступали очертания барельефов, будто размытые темнотой ночи силуэты солдатских фигур, шагающих куда-то плотным строем – в ад или небытие; оружие, каски, едва различимые, без выражения глаз смертные лица. Внизу на каменных плитах угрюмо отблескивали темные железные венки, стояли рядом свежие венки из цветов, прилипали к земле под дождевой пылью траурные ленты с белой и аспидно-черной бахромой, зловеще проступали на них знаки мальтийских крестов, и лежали среди железных венков целомудренные астры, нежно-красные гвоздики, каплями крови обронившие на грязные плиты лепестки, расплзшиеся по готическим надписям на венках: «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», «От резервистов бундесвера», «От бывших летчиков», «От бывших танкистов».

И вдруг пахнуло на Никитина железистым запахом земли, и будто послышались явственно какие-то голоса, разрываемые пулеметными очередями, чей-то вопль «танки-и!», вырвавшийся из знойного пульсирования солнца, нанесло удушающим жаром горячей брони, возникшей черным боком в прицеле, его всего оглушило ревом танковых моторов, и разом подкатила к горлу тошнота, вызванная сладковатым, как трупная вонь, густым наплывом синтетического бензина, ударами пороховых газов...

Он вспомнил это, уже не в силах отделаться от ощущения боли в ушах, толчков подбрасываемого выстрелами орудия и от знакомого хрипловатого голоса, просторной, обнажавшей молодые зубы улыбки, дрожания белых коровьих ресниц командира второго взвода Шиканова, чей перерубленный наполовину голый атлетический торс теперь висел на ветвях сосны, напоминая подвешенную розовую тушу. Он видел: что-то ужасающе красное обрызгало, стекло по щиту поповерканного орудия, впитывалось в белый накалившийся песок вблизи тихой реки Псел, вспыхивающей справа под нестерпимым солнцем. Танки пошли в атаку по левому берегу, и взвод Шиканова первым занял позицию на опушке урочища и не успел окопаться, открыл огонь, опередив на два снаряда взвод Никитина.

А вечером в занятом городке Гадяче пили после боя трофейный ром, и Никитин в каком-то беспамятстве кричал удивленному командиру батареи, что это его взвод, Никитина, должен был занять позицию на опушке и стрелять первым, и Шиканов был бы жив. Он как бы оправдывался перед случайностью и перед собственным роковым везением. В ту пору он еще не понимал, что на войне никто не может обогнать, обойти, замедлить или перехитрить судьбу. Судьба Шиканова, мстя за поспешную неточность, настигла его и сделала беспощадную зарубку на миге вечности острым топориком смерти. Это мщение было предупреждающей казнью, кото-

рую суждено было видеть Никитину несколько раз и в других обстоятельствах и которая все же не научила его благоразумию до конца войны, – молодости несвойствен опыт выверенного расчета. Но спустя много лет он не раз просыпался в холодном поту, – во сне судьба заносила над ним свой мстящий топорик и опускала его на другого, на метр ближе или дальше. И тягостно было при воспоминании лиц и голосов погибших во время танковых атак – война неотделимо связана была с этим чудовищным и лживо-лицемерным выбором взвизгивающего над головами топорика.

– Ты что нахмурился? – прозвучал голос Самсонова. – О чем думаешь? Пошли отсюда.

– Подожди. Посмотрим...

Никитин все глядел на распластанные, примокшие к темным плитам лепестки цветов, на колючее и влажное железо венков, облепленное кладбищенски поникшими лентами, и от этих овлажненных цветов на камне, черных мальтийских крестов на лентах, от мокрого крепа повеяло липким запахом чужой смерти, сгущенной трупной гнильцой из чащи, как бывало когда-то в осенних лесах, на раскисших дорогах, затянутых косым дождем, стучащим по папоротникам над канавами, на краях которых виднелись вдавленные в размытую глину немецкие коробки противогазов, сплюснутые плоские котелки, перевернутые, налитые грязной водой каски. Тот липкий, трупный запах лесных дорог забивал ноздри, не давал дышать.

«Так что же? – подумал Никитин с отвращением и неприязнью к самому себе. – Не могу побороть? Не могу забыть? Это сильнее меня? Почему я не могу представить другую смерть – немецкого солдата, слезы его матери, жены, невесты? Почему это не вызывает во мне никаких чувств?»

Осторожные шаги приблизились сбоку. К памятнику подошел сухощавый мужчина, высокий, в приталенном сером пальто, без шляпы, седеющие волосы причесаны на пробор, сухое выбритое лицо тускло, неподвижно, он одним пальцем поправил перекрученную ленту венка, где по траурному крепу белела готическая надпись «От солдат, воевавших в 225-й пехотной дивизии», и, склонив голову, стоял так несколько секунд в позе задумчивости.

«О чем думает этот немец – о бывших победах и поражении? О погибших однополчанах? По виду ему можно дать лет под пятьдесят. Значит, воевал? Где? На западе? На востоке?..»

И Никитин, подталкиваемый любопытством, готов был спросить, не приходилось ли ему воевать на Восточном фронте против русских в составе 225-й дивизии, но немец вроде бы почувствовал на своем лице внимание и, обведя Никитина непроницающим, холодным взглядом, пошел прочь от памятника; спину его плоско облегал модное осеннее пальто.

«По возрасту бывший гауптман или майор», – подумал Никитин, он знал, что мог ошибиться, и тем не менее, продолжая угадывать, представил спину этого немца, затянутую в офицерский мундир, и спросил Самсонова, который протирал носовым платком стекла очков:

– Кто, например, этот?

– Немец, который стрелял в тебя, – досадливо ответил Самсонов. – «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес»³. Заметил выправку? Ого! Вон еще один. Не сомневаюсь, будущий сын бундесвера, кто-то дома исподтишка внушает ему мысль о былом величии третьего рейха.

Никитин посмотрел на подошедшего мальчика лет одиннадцати, в коротких штанишках, в белых, измазанных грязью гольфах; мальчик этот, лениво пожевывая резинку, начал бесцеремонно ходить по каменным плитам, балансировать, как на спортивной площадке, его желтые ботинки мяли рассыпанные лепестки венков; потом он напряг круглую попку, тонкие икры, подпрыгнул, коснулся рукой выпуклого ствола пулемета на барельефе и сейчас же, надув на губах пузырь жевательной резинки, спрыгнул с плит, враскачку зашагал к усыпанному островами листьев пруду за оградой, где пронзительно визжали чайки. Их резкий, скандальный визг на затемненной сероватым туманцем воде был далеко слышен; чайки по-змеиному хищно

³ Германия, Германия превыше всего».

нацеливали клювы, гонялись друг за другом вдоль берега, суматошно били крыльями, и стоя медлительных уток, вертя шеями, отплывала от них, покачиваясь на воде меж палых листьев. Мальчик же в запачканных грязью белых гольфах шел по кромке берега, мимоходом махал ногой на чаек и все надувал пузырь вытянутыми губами, пока он не лопнул. Никитин сказал:

– Том Соьер... Похож?

– Немецкого происхождения, – поправил Самсонов. – Ну, двинем дальше. Здесь ясно. На знаменитый Реепербан поедем? Или опять потащимся пешком? Ты не размок, Вадимушка?

– Доедем под землей, черт с тобой.

Накрапывал дождь. Они спустились в промозглый сквознячок метро, в запах отсырелых плащей и зонтиков.

Когда они поднялись из метро на Реепербан, дождь перестал, тучи низко клубились над районом порта, над невидимым морем, небо набухло, тяжелыми глыбами ползло над кровлями.

Все здесь, даже вблизи метро, непохоже было на Центральные благопристойные улицы вокруг отеля, все говорило здесь о жизни иной, праздной, неестественно возбужденной, необычной, кем-то придуманной (на один вечер, на одну ночь, на один час) для туристов и торговых моряков разноязыкого мира, сошедших на сладкий, безотказно гостеприимный берег Гамбурга, готовый удовлетворить желания каждого, кто склонен к разнообразным удовольствиям больших цивилизованных городов.

– Вот он, знаменитый район Сан-Паули, – сказал Никитин. – Секс. Вино. И увеселения.

– М-да, – промычал Самсонов. – Вижу.

Тут ярчайше пестрели на всех углах грубо разрисованные вывески баров, рекламы маленьких домов свиданий, ресторанов, американских клубов, повсюду бросались, лезли в глаза названия дансингов, ночных кабаре, стриптизов – «Табу», «Колибри», «Мулен Руж», «Сафо» – и смотрели через стекла витрин цветные фотографии оголенных крупнотелых девиц, лежавших в прозрачных ваннах, или распростертых, как бы распятых на коврах, или закрывших испуганно-капризно лицо распущенными волосами и игриво растопыренными пальцами то место, где должен быть фиговый листок; и повсюду странно выделялись торчащие груди, запрокинутые в позах изнеможения головы, напряженные шеи, гибкие руки в застенчивом движении ложного целомудрия, зрелые женщины и совсем девочки с невинно потупленными глазами, будто защищающие свою вдруг открытую наготу томной полуулыбкой. Это было какое-то перемешанное обилие женской плоти, обнаженная тайна напоказ, разъедающий толчок смещенного воображения, ядовито и искусственно создавшего сцены в нарочитом по своему бесстыдству уличном театре для заходивших сюда любителей эротического забвения.

В этот час Реепербан был по-дневному немногочислен, еще не зажигались ночные огни, не светились рекламы, еще не работали ночные кабаре, не открывались дансинги, еще не было вечернего оживления, какое мог представить Никитин по хаосу зазывных вывесок клубов, кинотеатров и стриптизов, но что-то работало уже в недрах улицы, с усталой механичностью начинало или продолжало ночную жизнь, темно шевелилось за стенами небольших отелей, за витринами баров, во дворах и подъездах домов. И деятельного вида, атлетического сложения швейцары в форменных пальто, непроспанно зевая, расхаживали у закрытых дверей, порой отбегали на середину тротуара, наперерез прохожим, с нагловатой решительностью преграждали дорогу, вывертом показывая в ладонях фотографии, какие-то билеты, выкрикивая хрипловатой скороговоркой:

– Новое порно! Вход три марки!.. Три марки для информации! Очень дешево!..

– Пять марок за пятнадцать минут! Молодая шведка... Две красивые мулатки, которые хорошо понимают друг друга!.. Шведский секс! Французский вариант!..

Здесь, подобно теням, появлялись на тротуарах бесцветные, бледноликие молодые люди с быстрыми плоскими глазами, в узконосых ботинках, скользящими телодвижениями высту-

пали из подъездов, возникали из глубины улочек, вполголоса убеждая зайти куда-то. В то же время благообразно седые, одетые в черное мужчины беспощадно ловящими взглядами сутенеров следили издали за работой молодых людей, зорко проглядывали улицу. А везде, под окнами, возле подъездов и около дверей баров, поигрывая раскрытыми зонтиками, стояли проститутки, немолодые, потрепанные, до неумеренной яркости покрашенные, и рядом – молоденькие, в мини-юбках, повесив сумочки на руку, независимо курили, подрагивали ногами, обтянутыми сапожками.

На этой улице оба не останавливались, шли, не отвечая на оклики, и теперь точно продирались через расставленную впереди колючую проволоку неотступно и секретно шепчущих бескровных молодых людей, держащих открытки в рукавах, сквозь как бы с угрозой наведенные взгляды солидных сутенеров, сквозь неуловимо сопровождавшее внимание дневных проституток, пожилых, тяжелых, матеро-опытных, и этих юных, внешне ангельски чистеньких, беловолосых, раскрывающих навстречу словно впервые подведенные синевой веки школьниц. И Никитин, чувствуя это окружение унижительной оголенности намерений, кем-то узаконенных, обыденных в своей простоте, подумал, что, видимо, здесь знали всё, что можно знать в темной бездне человеческой похоти, где заранее подробно были выучены роли, жесты, слова, позы, чтобы за цену, установленную соответственно вкусам, можно было купить и продать вместе и в отдельности ноги, губы, грудь, живот, голос, всю изощренную воображением искусственную страсть, – он подумал об этом и внезапно ощутил тупое, гнетущее насилие над собой; и мохнатой лапкой сдавило сердце тихое удушье.

Они молча миновали квартал дневных проституток, и тут, на углу, перед заворотом в улочку, сутулый, старообразного вида швейцар, какие обычно стоят подле дверей отелей, в длиннополой форме, украшенной серебристыми галунами, плохо выспавшийся и плохо выбритый, искательно закивал им морщинистым переутомленным лицом и заговорил полусеппотом, умоляя подобострастно:

– Господа, только три марки... показываем короткие французские фильмы, привезенные с плац Пигаль. Я вижу, вы не немцы, вам интересно будет взглянуть. Последние фильмы. Вот билеты, господа, три марки, это стоит... уверяю вас...

– Зайдем, что ли? – спросил неожиданно Никитин без полной уверенности, обращаясь к Самсонову. – Посмотрим ради интереса. Все надо знать, если так... Как ты?

– Давай уж, давай, бог с ним, соблазн есть, – ответил, неизвестно почему багровея, Самсонов и, отсчитав швейцару шесть марок мелочью, пробормотал: – Знать так знать...

Они вошли в узкую дверь, услужливо раскрытую забежавшим сбоку швейцаром, спустились по тускловатой каменной лестнице в подвал, пахнущий пряной сыростью, теплым одеколоном, отодвинули тяжелую захватанную бархатную портьеру, закрывавшую вход перед концом лестницы. И в слоистой темноте крохотного зала замерцал, засветился впереди маленький экран, где нагая женщина на краю широкой постели в истоме обнимала мужчину за мускулистую спину, терлась затылком о подушку – шел фильм без слов, без звуков, фильм движений, изображающий двоих в номере отеля.

Никитин с порога приглядывался в полутьме зальчика, отыскивая места, – стульев нигде не было. Стояло лишь несколько столиков, на стенах слабо горели красные фонарики, в углу из тьмы красновато проблескивали зеркала бара; и зальчик и бар этот в первый миг показались совершенно заброшенными, пустыми. Но потом завиднелись справа у зеркал три женские фигуры, сидевшие за крайним столиком возле какой-то боковой занавески, и оттуда послышалось протяжное:

– Хэлло-о!

И при фосфорическом мерцании экрана, отсвечивающего в мрачноватое пространство без стульев, видно было, как две девушки встали, неторопливо, покачивая бедрами, приблизились и затем, как это делают контролеры в кинотеатрах («айн момент»), провели их в полукруг-

лую ложу, посадили к столику и затем, обладавая душноватым одеколонным запахом, сели между ними с той неспрашивающей уверенностью, которая означала, что так уж заведено в этом барекинотеатре.

Никитин не успел взглянуть на свою соседку, как тотчас же подошла третья девушка, по-видимому официантка, посветила ручным фонариком. Он разглядел ее светлые волосы, продолговатое, неприступно-холодное лицо, лицо умной студентки; она сухо спросила, что господа намерены пить.

– Пить? – переспросил Никитин по-немецки и, немного озадаченный, взглядом подал знак Самсонову: «Бери командование на себя».

– Кока-кола, – заказал Самсонов для того, чтобы только заказать, и поэтому выбрал самый дешевый напиток. – Две.

«Кто же, собственно, эти девицы? Зачем они сели с нами? – подумал Никитин и здесь же вспомнил о предупредительных японских гейшах. – Вероятно, они служат здесь и своим вниманием обязаны занимать зрителей: совсем уж интересно, но, кажется, некстати».

Мгновенно принесли две ледяные бутылки кока-колы, две маленькие рюмочки с ромом, девушки зашевелились, заулыбались, разлили кока-колу, одна подала стакан Самсонову, другая – Никитину, и он наконец взглянул на нее: смуглая, скуластенькая, большие темные глаза ничего не выражали, тонкий свитер округливал ее сильную грудь, нога умело заброшена на ногу, узкая юбка стянулась, выказывая телесно белеющее колено.

Она отпила глоток из рюмки, качнула ногой, жестом попросила у Никитина сигарету, и он охотно угостил ее, зажег спичку. Огонек осветил чуть толстоватенький нос, густо начерченные ресницы, полные губы, колечком охватившие мундштук сигареты, ее круглые ноготки, отблескивающие багровым лаком. Она, медленно затягиваясь, опять качнула ногой, коснулась коленом Никитина и, улыбнувшись, легоньким кошащим движением провела ладошкой по его волосам.

– Меня звать Гэда, – низким голосом сказала она, задержала палец на его щеке, ласково подергала, пощекотала мочку уха и добавила: – Кто ты – англичанин? Какой серьезный!

– Гэда? – повторил Никитин и убрал ее неприятно холодную, пахнущую горькой туалетной водой руку со своей щеки, давая понять, что не расположен к этому нестеснительному прикосновению, к этому изучающему его любопытству, и стал смотреть на экран, где в разных номерах отеля происходило одно и то же: она, обнаженная, сидя посреди постели, в задумчивости стягивала чулок, словно скручивала кожу на бледной ноге, открывалась дверь, входил он, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстегивал рубашку, она, не успев снять второй чулок, опрокидывалась навзничь под его играющим мышцами стальным торсом. Из затмения возникал соседний номер, длинноволосая женщина, разъятоглазая, в одних сапогах выше колен, сладострастно ударяла себя хлыстом по плечам; потом заставленная мольбертами комната, похожая на мастерскую художника, голая натурщица у окна одной рукой кругообразно поглаживала живот, дрожа истонченными пальцами, другой, с порочной улыбкой, держала свечу около бедра; потом на утреннем песке пляжа мужчина заламывал назад руки по-звериному кричащей девушке, зубами вонзаясь ей в искусанную до крови спину, а кто-то, гладколысый, уродливо сгорбленный, тоже голый, подглядывал из-за кустов и, суча волосатыми ногами, злорадно, гадливо смеялся...

Никитин смотрел сначала с невнятным интересом, затем с тоскливым, раздраженным сопротивлением, и тошнотный, вяжущий комок постепенно подступал к его горлу, будто на глазах били обмотанными ватой кулаками, истязали, мучили прекрасное человеческое тело, заставляли его корчиться, извиваться в больном сладострастии, уничтожающем презрительной ненавистью естественное сближение мужчины и женщины.

– Англичанин, пей...

Хмурясь, он оторвался от экрана, отвлеченный голосом, шорохом в ложе, и увидел при вспыхнувшем фонарике – зачем-то принесли на их столик вино, две густо-черные бутылки, четыре бокала, которые официантка молчаливо наполнила. Гэда пригубила бокал, искоса поглядывая на него, а официантка ушла за занавеску, скрывающую выход куда-то правее экрана. Занавеска эта подергивалась, колыхалась складками) и сипловатый мужской шепот дополз оттуда в пустоту зальчика.

И тотчас глухое беспокойство возникшей нереальности малярный холодком стало вкрадываться в сознание Никитина. Уже происходило нечто несуразное, до глупости ненужное – фильм на экране, потные голые тела, темный закрытый бар в непонятно безлюдном подвале Реепербана, незаказанное вино на столе, шепот за занавеской, скуластенькая, никогда в жизни не виденная Гэда, прижимающая колено к его ноге. Что это? Нет, надо было сейчас же подняться, во что бы то ни стало сделать над собой усилие, выйти из нереальности этого подзрительного сырого подземелья, оторванного, казалось, от всего мира с его естественным светом, дневной серостью ноябрьского воздуха, живыми звуками, которые не проникали сюда, как сквозь железобетонную толщу. Было тихо, и в мертвенной немоте, после шевеления занавески, после сжатого мужского шепота за ней, Никитин представил дикие, зловеще мрачные лабиринты этого не известного никому подвала, его мокрые нависающие своды, ослизлые стены, обросшие грязью, зловонные канализационные колодцы и стоки, где текла мутная городская жижа и где не могло быть ни единой души человеческой.

«Уходить, нам надо уходить!» – подумал Никитин и тут же услышал низкий голос Гэды, лихорадочно пытаясь понять немецкие фразы:

– Я вчера была у врача, у меня все в порядке. Я слежу за своим телом, англичанин...

Она, сонно улыбаясь, медлительно погладила свою грудь и бедра.

– Я хорошая артистка стриптиза, я здесь выступаю вечером. Ты посмотри, какая у меня грудь. Пощупай... И посмотри, какие бедра. Как у мальчика. Ты кто, англичанин?

– Нет.

– Поляк? Югослав?

– Нет.

– Может, русский?

– А разве русские здесь бывали?

– Бывал один. Симпатичный человек. Только шпион.

– Почему шпион?

– Русские все шпионы.

– Это ведь чепуха, милая Гэда.

– Я вижу, ты медленно возбуждаешься, – сказала она и хрипловато рассмеялась. – Может, ты... этот? Может, ты другого хочешь? Не бойся, я все умею делать...

– Нет, милая, я ничего не хочу!

«Уходить, сейчас же уйти отсюда. Сказать об этом Самсонову!» – подумал Никитин, испытывая тревожную и душную тесноту во всем теле, и, уже совершенно не понимая, не видя смысла происходившего на экране – мелькали там те же голые фигуры мужчин и женщин, – он со смешанным чувством отвратительного страха, брезгливости и двусмысленности положения наконец повернулся к Самсонову и не сразу узнал его. Самсонов, придавленный в угол крупным телом другой девицы, мотал лиловым в полумраке лицом, бормотал что-то ненатурально сердитым голосом, он словно оправдывался, оборонялся растерянной усмешкой, и Никитин проговорил одним выдохом:

– Всё, пошли отсюда!

Самсонов с задышкой обратился к Никитину, привстав, бросил в пустынный зальчик бара:

– Счет!

Заколебалась, откинулась занавеска правее экрана, и не спеша подошла белокурая официантка, выражая и ртом и глазами целомудренную строгость умной студентки. Она положила на столик два счета, в ожидательной невозмутимости посветила ручным фонариком. Никитин не сумел толком просмотреть свой счет, потому что заметил, как мигом переменялось толстоватое лицо Самсонова, вскинутое к зажженному фонарику официантки, и голос его вскрикнул изумленно:

– Откуда такой счет? Вы ошиблись! Сто пятьдесят марок? Мы заказывали только кока-колу! Позвольте! Мы не пили вино!

– У тебя нет денег, англичанин? Не знаешь цен? – бесстрастным голосом проговорила официантка и наклонилась близко к нему. – Сколько ты можешь заплатить марок? Сколько у тебя всего денег?

– Сто марок, – запинаясь, солгал Самсонов. – Я могу заплатить только сто марок.

– Давай сто!..

Трудно дыша носом, опасливо соображая что-то, Самсонов извлек из внутреннего кармана портмоне, порывшись в нем непослушными пальцами, но, когда вытягивал две пятидесяти-марковые купюры, официантка цепким захватом отогнула край портмоне, крикнула внезапно визгливо:

– Там еще есть деньги! Давай! И ты... плати! Тоже нет денег?

И зажатым в кулачке ручным фонариком властно и грубо ткнула в лоб Никитину, с искаженным злобой красивым лицом и вся готовая к действию, плотную придвинулась, загорюдила экран. Никитин никак не предполагал этой ее грубости, этого насилия, но, понимая, что все теперь походило на угрозу и вымогательство, как-то обостренно уловил в углу подвала колыхание занавески – и двое мужчин боксерского сложения (один без пиджака, в белой рубашке, с распущенным узлом галстука, другой в темном свитере) поочередно вышли оттуда, демонстративно сели на высокие стульчики бара спинами к залу, покуривая в безразличном молчании.

– Фонарик надо использовать по назначению, уважаемая, – выговорил Никитин. – Так будет разумней.

Он не раз переживал тягостное состояние связанных рук, то состояние, какое потом повторялось во сне, когда душная, унижающая тебя сила выворачивает плечи, железным обручем давит горло, смеется при виде твоей покорной беспомощности. И это было то, что могло случиться здесь, сейчас, в безлюдно-зловещем подвальчике, здесь, в примитивной ловушке, отъединенной от внешнего мира: драка, избиение, грабеж, возможно, даже убийство, сырая клоака зловонных ходов, заброшенные колодцы городской канализации – ни одного свидетеля вокруг, никто никогда не сможет ни найти, ни узнать...

И, молниеносно осознав собственную беспомощность, Никитин благоразумно решил, что нет ни малейшего смысла выказывать официантке сопротивление, проявленное ошеломленным Самсоновым, и, еще стараясь быть спокойным, он небрежно пододвинул к себе свой счет – сто сорок три марки, потом счет Самсонова – тоже сто сорок три марки. Это была большая сумма, которая представилась ему ничтожно мизерной, малозначащей, – да, да, немедленно, не сомневаясь ни секунды, заплатить триста марок и купить этим выход на ноябрьский воздух, приятный дождичек, мокрый асфальт... Какой никчемной, маленькой была эта сумма, покупающая возможность встать, откинуть тяжелую портьеру перед лестницей, подняться по ступеням из свинцовой полутьмы подземелья, избавиться от влажного запаха одеколona, исходящего от Гэды, безучастно посасывающей вино, не видеть злобного лица белокурой официантки, которая с выжиданием стояла над ними, изготовленная на все – ударить, завизжать, вцепиться ногтями в глаза.

И думая лишь об этих первых шагах по лестнице, Никитин отсчитал триста марок, равнодушно протянул их официантке, пояснил:

«Счет вместе», – и она почти вырвала деньги у него; он коротко и тихо сказал Самсонову: – Пошли к выходу, только быстрее!..

Официантка, собрав губы в жесткий комочек, выкладывала на стол сдачу мелочью. Двое мужчин все так же непроницаемо-безразлично сидели спинами к ним у стойки бара, покуривали молча.

«Скорее, скорее», – подталкивал себя Никитин и вдруг, с ударившей в голову кровью, почувствовал, как Гэда схватила его за локоть, впилась в рукав плаща, не давая ему встать, и тогда, сдерживаясь невыносимым напряжением воли, чтобы не оттолкнуть ее («Она сейчас завизжит, крикнет, что ее избивают, и тут начнется!..»), он мягко разжал вцепившиеся в его рукав ногти и встал, ощущая мерзостное отвращение к этой фальшивой улыбке («Нет, ничего особенного не случилось!»), к своему голосу и неестественно вежливой интонации удовлетворенного полученным удовольствием человека:

– Данке шён... Ауф видерзеен...⁴

Качнув животом стол, неуклюже вскочил следом Самсонов и, сопя, нагнув по-бычьей голову, двинулся к выходу, – и в ту же минуту Никитин пошел за ним, и после того, как на пороге отбросил захватанную портьеру, пропитанную омерзительной пряной сыростью, и увидел счастливый дневной свет вверху крутой лестницы, он еще не очень верил, что там, сзади, не опомнятся, не бросятся вдогонку...

Задышавшись, они поднялись по каменным ступеням к выходу, откуда бело пробивался через стеклянную дверь реденький мерклый свет осеннего дня, а когда открыли дверь, когда вышли на улицу, на свободу, на простор тротуара, на прочную твердость влажного асфальта, оба возбужденно вдохнули горький водянистый воздух Реепербана и оглянулись по сторонам.

– К чертовой матери отсюда! – выговорил Никитин. – Ко всем чертям!

Швейцар стоял сбоку двери и сделал вид, что всецело занят соскребыванием пятнышка с борта зеленой шинели, морщинистое, измятое его лицо было не угодливым, а лживо-сосредоточенным. И Никитин поймал себя на злом и тайном желании – запомнить название бара, и это место, и это лживое лицо, которое могло быть случайным и неслучайным знаком в его судьбе.

– «Интим-бар», – прочитал Никитин неоновую вывеску над дверью. – Отличное название для бардака сто первого разряда! Потрясающее по невинности заведение!

– Ах, идиоты! Идиоты! – вскрикивал Самсонов в невылитой ярости и ударял кулаком по своему потному лбу. – Триста марок! Ограбили! Изнасиловали! Среди бела дня! Как сусликов, как глупцов ограбили!

– Благодарю бога, дешево отделались, Платон, – уже веселея, сказал Никитин. – Ну что было делать? Заявить полиции, что ты возмущен неблагородством притона и будешь жаловаться канцлеру? Могло быть гораздо хуже. Учти, нас ограбили как англичан, но они еще не знали, кто мы. Ты слышал милый лепет этой прелестницы Гэды о русских? И обратил внимание на вышедших боксеров-мальчиков? Дредноуты в пограничных водах.

– Идиоты мы, идиоты! Вот кто мы! Триста марок!..

– Бог с ними, с марками, считай, что у нас их никогда не было! Точнее, любой гонорар в капстране – дурные деньги.

– Ан нет! Это уж нет, прости! Я тебе должен сто пятьдесят, и я их тебе верну. Расплата за идиотизм поровну!

– Никаких денег, видишь ли, Платон, я у тебя не возьму. О трехстах марках я уже забыл. Не было их.

– А я не живу в долг, ты тоже запомни!.. О, простак, глупцы, надо же было попасть в такое положение, дураки, ослы, болваны! И каким же сволочам мы попались!

⁴ Большое спасибо... До свидания...

– Успокойся. Все прошло. Такое стоит дороже. Все равно любопытно, ей-богу.

Никитин говорил и даже посмеивался, успокаивая Самсонова, багрового от негодования, от неудовлетворенной злости, а сам чувствовал, что стиснутое внутри унижительное бессилие не расслабляется до полного облегчения. Ибо все случившееся было примитивно разыгранным насилием, не имеющим никаких доказательств и никаких улик, выглядело обыденным, вполне естественным: и вино, и девицы за столиком, и мужчины за стойкой бара, готовые вступить за оскорбленную и беззащитную девушку-официантку, которой не платят по счету... Виновных не было, вернее, они были: два зашедших в бар иностранца, желающих развлечься и позволивших себя ограбить, унижить, ударить...

Глава четвертая

Это был первый гонорар, три тысячи рублей, первые деньги после длительного безденежья, полученные в кассе солидного издательства, – три толстые плотные пачки, каждая перетянутая бумажной ленточкой, отмеченная печатью и какой-то росписью. Пачки эти приятно оттопыривали карман его старенького пиджачка, и он, выйдя из подъезда издательства на солнечный воздух июньского дня, переживал прилив счастья и от впервые непривычно увиденной и такой знакомой фамилии над рассказом в толстом журнале, и от долгожданного богатства, сладострастно давившего пачками на грудь.

В первом же табачном киоске он купил неправдоподобно дорогие папиросы «Герцеговина Флор» и в полусне наслаждения, забыв про долги, про неуютную, с нечистыми обоями комнату, снимаемую им возле Павелецкого вокзала, пошел по улице, летней, пестрой, горячей, в тени облитых полуденным зноем тополей. Он ликовал, он глядел на лица прохожих и радостно думал: нет, они не знают, что его имя сейчас вроде бы отделилось от него, что везде в газетных киосках продают новый журнал, в котором напечатан *его* рассказ, им написанный, им рожденный за шатким обеденным столом той неуютной комнатки с отставшими, пожелтевшими обоями, никто не знает, что он наконец может заставить этих прохожих, этих незнакомых людей на улице восхищаться, грустить, удивляться, и что он богат сейчас, и отдаст долги (комнатка, обеды хозяйки), и купит себе костюм, белье, ботинки, и еще останутся деньги для спокойной работы, чтобы снова удивлять людей и заставлять их преклоняться перед его благословенным талантом.

На углу он долго ходил вокруг газетного киоска, рассматривая сквозь нагретое солнцем стекло обложки книг и журналов, однако боковым зрением наблюдал за прохожими, покупающими свежие газеты, последний номер «Огонька», и взгляд его поминутно останавливался на названии толстого журнала, в котором был напечатан его рассказ. Он все время помнил запах типографской краски, исходивший от прекрасной гладкой бумаги, где стояла его фамилия, от печатных знаков, странно и черно заполнявших первую страницу, наизусть помнил начало рассказа, заранее представляя, что мог почувствовать человек, прочитав после заглавия «Однажды осенью», как казалось ему, дышавшего самым грустным запахом осени, фразу: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше, по навесу крыльца, ветер косо гнал по лужам темные кораблики опавших листьев...» Он так неутоленно работал над этой фразой, уже написав весь рассказ, так длительно отшлифовывал ее, удлинял, сокращал, переставлял слова, убирал эпитеты, что она снилась ему как сладострастное наказание, как мука, – но в этой муке было наслаждение, и оно не имело конца, оно не прекращалось.

Покуривая папиросу, будто бы в состоянии рассеянной задумчивости, он ждал у киоска того сладкого тщеславного момента, когда кто-нибудь купит журнал с его рассказом, и про себя повторял наизусть начальную фразу, что должна обязательно броситься в глаза на первой же странице: «Дождь шумел в саду, стучал по крыше...» Какая все-таки это была отточенная, восхитительная фраза, заставляющая, конечно, читать дальше, не отрываясь, в особом грустном восторге перед осенними сумерками в маленьком городке на берегу реки с оголенным октябрьским садом.

Лицо старика продавца за стеклом киоска было до унылости будничным, он продавал газеты, отсчитывал мелочь двумя обмотанными несвежими бинтами пальцами, после чего доставал из-под полочки бумажный кулечек и равномерно жевал, оставляя на подбородке крошки лимонных вафелек.

«Что такое? Почему не покупают журнал? – думал Никитин, глядя на вяло жующего продавца, который, разумеется, должен был отлично знать о серьезности и популярности толстого журнала и вышедший номер предлагать каждому. – Сказать ему о журнале или не сказать?»

Он торчал у киоска минут двадцать, мешая здесь, его толкали, и старик продавец вдруг подозрительно уставился на него, привстав из-за кип газет, спросил скрипуче:

– А вам что, молодой человек?

И тогда с запыхавшим лицом он взял журнал со своим рассказом, просмотрел оглавление, полистал, раскрыл то место, где черным шрифтом ударяла невероятной новизной его фамилия, пробежал первые строчки, сказал не без деланого удивления:

– А, вышел...

– Кто вышел? Новенькое? Автор-то кто? – И, по-мышинному похрустывая вафелькой, продавец взглянул на фамилию, на заглавие рассказа, точно в безрадостную пустыню посмотрел.

– Это мой рассказ, – с насильственным равнодушием человека, который перекупался в утомительном сиянии славы, сказал Никитин, испытывая томящее удовольствие от некоторой вопросительности в выцветших глазах продавца.

– Вы автор?.. Вы? Пишете? Так-та-ак!.. Никогда не видел таких молодых авторов... Вы, стало быть, писатель? Приятно видеть...

– Да, это мой рассказ, – повторил Никитин, нахмурясь, и полез за деньгами. – Дайте мне два журнала. То есть три журнала, пожалуйста. У меня нет ни одного экземпляра.

Он явно солгал – у него было два авторских экземпляра, а ему хотелось купить всю стопку вот этих приятно отливающих фиолетовыми обложками, еще не тронутых никем журналов, что были в киоске, купить с необъяснимой и алчной жадностью, будто могли они в одну секунду исчезнуть из киосков, – и тогда не будет печатных доказательств его авторства, так чудодейственно что-то решившего в его жизни.

– Прозаик Никитин? Ты, что ль? Опус свой скупаешь? Здоро^во, что ль!

Сильно оказавший голос толкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно-дерзким артистическим панибратством, и он поежился, ловя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу, обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был тот ржановолос, широкоплеч, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном нараскат. Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете.

– Прозаик... Талантище!..

Вихров, в потертом, помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, плохо причесанные волосы спадали на крепкий лоб, обрадованно, подобно веселому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом:

– Читал рассказ, читал, мы с тобой соседи в журнале, моя баллада там напечатана, не прочел? Прочти! А я твой опус прочел, – хорошо, здорово! Как у тебя там? «Огоньки шевелились в темноте», что-то вроде так... Это, брат, прямо строка из стихов! Талантище ты, Никитин, прорвешь пелену и в Чеховы на белом коне выедешь! Мо-ло-дец, прозаик, мо-ло-дец!

– Ты в какую сторону? – спросил, краснея, Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова. – Ты не в центр?

– В пентр так в центр! Пошли. Гонорарий получил? Обмоем? Твой рассказ, первую ласточку, и мою балладу! Посидим где-нибудь. Поговорим за жизнь. Поедем в Парк культуры, на чистый воздух? У тебя как – дети не плачут? Жена не ждет? Теща со скалкой не встречает?

– Нет, я один.

– Тогда потопали на троллейбусную остановку, Чехов! Грех первый рассказ-то не отметить! Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты. Белой скатеркой в славу! Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты?

Никитин хорошо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная радость (наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное!) и оттого, что напоминанием о случив-

шемся лежали рядом на столике журналы с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам, и оттого, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизбежно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета, – на терраску веяло запахами дерева, пресной листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе аллей.

Он с непреходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии прозы, о деталях рассказа, о боге, который волшебным образом водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам-единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячие увлеченностью пойманной мысли, на ржанные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров, как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его так близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окал, играя под простоватого парня.

Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной волей воображения; потом Вихров начал читать последние, еще не опубликованные лирические стихи. А Никитин чем больше пил, тем больше восторгался Вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью и после каждого прочитанного стихотворения говорил: «Великолепно, здорово, отлично!» – и порывался обнять его в избытке восхищения и, окончательно покоренный, раскрытый, обнаженно-добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви.

Но, растроганный наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил: судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, началась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая; этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить, появятся статьи на полосах газет, мнения критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками «Талантливый рассказ» или «Талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности, имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. И сбудется наконец давняя и лелеянная его мечта, как бы пришедшая из сладкого сна: он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы, его фразы... «Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях...» «Я не встречу, – сказал он грубо. – Прощай!» – «Нет, – сказала она и погладила его по плечу. – Я приеду, даже если ты не встретишь...»

Он тоже произносил тосты, пил, предлагал выпить еще, слушал Вихрова, умилялся и голосом Вихрова, и его совсем недавно написанными лирическими стихами, пронзительной, грустной туманностью ощущения двух людей, его и ее, что расстались осенью на вечернем полустанке, озаренном тлеющим над рельсами закатом, думал влюбленно, что несомненно и навсегда обрел сегодня друга, единомышленника, одинаково чувствующего, одинаково понимающего, и был одновременно переполнен неизбывной радостью: «Да, мы сидим здесь, а ведь напечатан мой рассказ и впереди еще много будет рассказов!..»

В этом летнем немногочисленном кафе они сидели до сумерек и, не переставая, с жаром и страстью говорили о вечной магии точного слова. («Слушай, слушай, какая простота и гениальность: «Звезда печальная, вечерняя звезда! Твой луч осеребрил увядшие равнины...» Или

вот: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты...» Это же с ума сойдешь: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...» А ты вот вникни только: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, – как слезы первые любви!» Написать такое – и помереть спокойно можно! Великая литература, мировые гиганты!» Спорили, соглашались, перебивали друг друга, плакали, теперь повторяя наизусть волшебные строки любимой прозы («Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России...») – вот удивительное начало рассказа, вот удивительное колдовство настроения! Лермонтов бесподобен! А Чехов – как он умел заканчивать свои рассказы! Помнишь фразу: «Мисюся, где ты?»), опять произносили тосты, пили на десерт какой-то парфюмерно-сладкий ликер, запивали его кофе, объяснялись друг другу в любви, клялись в верности литературе, глаголу и эпитету, во взаимной мужской дружбе оставшихся в живых фронтовиков («Единицы нас, Вадим, остались, единицы!») и, наконец, будто вынырнули из тумана, опомнились – голубизна сумерек стучалась в аллеях парка. Расплатились щедро и встали под насмешливый шепоток официантов, – видимо, принимали их тут за не очень нормальных людей: щедрые деньги, разговор о литературе, крики, споры, слезы на глазах и обтрепанные пиджачки являли непонятное и загадочное противоречие.

А когда пошли по аллее парка, подуло предвечерней прохладой по разгоряченным лицам, Вихров, потный, возбужденный, широко расстегнув на выпуклой груди рубашку, ржанные волосы прилипли ко лбу, охватил одной рукой Никитина и в хмельном упоении, не в силах остановиться, улыбаясь чему-то, начал читать стихи Бунина проникновенным, чуть охрипшим голосом.

«Отличные стихи, – думал потрясенно Никитин, вслушиваясь в сниженный баритон Вихрова и вместе слушая счастливо поющую струнку в самом себе. – Все отлично, и мне не стыдно, что я немного пьян. Но почему мы встали и так рано ушли из такого уютного для разговора кафе?»

И как-то невозможно было Никитину подумать и согласиться, что вот сейчас они выйдут из парка в толпы прохожих на темнеющих улицах, где бледным светом зажигались фонари, и расстанутся, то есть Вихров кончит читать стихи, перестанет говорить об алмазном блеске слова в поэзии Бунина, сядет в троллейбус, уедет куда-то на окраину Москвы, а он, Никитин, доедет в метро до Павелецкого вокзала и за углом переулочка увидит на втором этаже старого, облезлого дома окно своей унылой комнатенки, пахнущей плесенью и обветшалой, древней мебелью. Нет, нет, их разговор и восторг, их доброту друг к другу, к литературе, ко всем людям невозможно было просто так прервать, закончить: ведь все было сегодня необыкновенно!

– Честное слово, Василий, мне не хочется домой, и рано еще, – сказал Никитин. – Может, пойдем пешком до центра?

Тогда Вихров предложил «на посошок» просвежиться по Москве-реке на водном трамвайчике, вечерами свободном, не заполненном пассажирами, курсирующем до Кунцева и обратно, сесть можно на пристани в Парке культуры, а сойти где-нибудь в городе, – и Никитин обрадовался этому предложению.

На речном трамвайчике зашли в буфет, чтобы выпить по последней рюмке коньяку, и здесь Вихров донжуански подмигнул буфетчице, низенькой, полногрудой, черноглазой, в накрахмаленном халатике, нараспев прочитал ей лирическую строчку из Блока: «И каждый вечер, в час назначенный...» Буфетчица захихикала, расставляя на влажном пластике рюмки, кокетливо повела бровями: «Студенты, видать? Стипендию получили? Празднуете?», а Вихров přátельски обнял Никитина и сказал ей, что перед прекрасными очами прелестной женщины молодой талантливый писатель, и посоветовал ему немедленно подарить экземпляр журнала с рассказом, сделав дарственную надпись. «Пусть, Вадим, читает народ...»

Никитин сконфуженно переспросил имя «прелестной женщины», быстро сделал надпись в журнале под заглавием рассказа и, расплачиваясь за коньяк, с видом богача, не считающего деньги, не обратил внимания на сдачу, положенную на мокрое блюдечко.

Затем совсем одни они сидели в нижнем, ярко освещенном салоне, заказали зачем-то шампанское, снова говорили, читали стихи, смеялись, обдуваемые водяной прохладой, нефтяным ветерком в открытые окна, за которыми шла, шумела мимо бортов москворецкая волна; трясся пол от глухой вибрации винтов, город сдвигался, поворачивался куда-то, плыл огнями над гранитными набережными, и спустя немного стало в салоне хаотично, уютно и весело.

Никитин был в состоянии любвеобильного блаженства (ему не жалко было бы отдать и рубашку), сорил деньгами, угощал шампанским и шоколадом черноглазую буфетчицу и ее помощницу, сонную толстую женщину, угощал коньяком двух парней-матросов с наглыми загорелыми лицами, то и дело забегавших поглазеть, как гуляют в салоне два чокнутых типа, ничем не похожих на писателей. А буфетчица с фальшивой угодливостью приносила теперь на подносе бутылки прямо в салон; Никитин совал ей небрежно скомканые деньги, не спрашивая сдачу, потому что не прекращались тосты за литературу, за жизнь, за будущее, за прекрасных женщин. Потом Вихров, притомленный несколько, закрыл глаза и, подперев кулаком скулу, попробовал было затянуть густо и рокошуще «Из-за острова на стрежень», женщины подтянули сначала дружно, но спохватились, зашикали друг на друга («Тише, а то подумают – фулиганство!») и, хихикая, стали показывать пальцем наверх, где на открытой палубе сидели, кутаясь в плащи, три-четыре пассажира, они должны были сойти, кажется, в Кунцеве.

И в наркотическом угаре разговоров, в непрекращающемся возбуждении Никитин время от времени не особенно отчетливо слышал голоса среди накуренного, оголенно освещенного салона, видел незнакомые лица, женские и мужские, недоверчиво удивленные его щедростью, неблизкие ему, неинтересные («Почему эта буфетчица хихикает поминутно, и морщит губы, и поглядывает как-то намекаяще? И почему у нее красивые глаза и какой-то плоский некрасивый рот?»), и тогда притупленный укол мутного стыда («Что же со мной происходит? Зачем я это делаю?») словно отрезвлял его.

Только в двенадцатом часу они сошли с трамвайчика вблизи кинотеатра «Ударник», и Никитин, еще не остывший, еще расслабленный всем этим необычным днем и необычным вечером, начал убеждать Вихрова, что посадит его в такси, не пойдет домой, пока не проводит его до такси... И они двинулись к стоянке по набережной в сторону Балчуга, спотыкаясь, часто останавливаясь возле каменного парапета, чтобы закурить (курили же беспрерывно) и до конца высказать свою расположенность друг к другу, найденное единство душ и еще раз напомнить о том, что обязательно должны встречаться.

Им повезло: зеленый огонек такси одиноко замерцал на повороте из провала Пятницкой, приближаясь к стоянке около моста, они заорали «але!», замахали руками, машина затормозила. Они по-братски обнялись, расцеловались – и Никитин вдруг остался один, неуспокоенный, взбудораженный, казалось, вмиг мелькнувшими часами разговоров, питья, куренья, единомыслия, восторженных открытий, и вроде сейчас ему не хватало чего-то.

На Овчинниковской набережной, напротив кинотеатра «Заря», без зажженных реклам, по-ночному темного, на углу приглашенной Пятницкой, редко желтеющей верхними окнами, сидела на парапете под фонарем группа парней, и, вероятно, после киносеанса, они, посмеиваясь, переговаривались, поплевывали с ленцой в черно-маслянистую воду Канавы; один, сутуловатый, кряжистый, в коротеньком пиджачке, мотая широкими брюками, как бы от нечего делать, для собственного развлечения, выбивал чечетку на тротуаре.

– Эй, друг, нет закурить?

Парень этот свистнул, заведя на набережной одинокого Никитина, и когда тот, слегка пошатываясь, подошел, охотно протягивая пачку («Пожалуйста!»), парень беззастенчиво, стремительно подцепил ногтями сигарету, поинтересовался, кивнув на остальных:

– Всем даешь? У всех кончилось, пусто у нас, кореш...

– Да, да, конечно, закуривайте, ребята.

Его обступили, толкаясь, и потянулись к пачке, быстрые пальцы жадно выдергивали сигареты; под светом фонаря окружили его чужие лица, молодые, настороженные, чудилось, не доверяющие его щедрости, но от того, что было сегодня в Парке культуры и в светлом салоне речного трамвайчика, от того, что сегодня свершилось в его жизни, он, рассовывая в руки парней сигареты, улыбался им, говорил с наивной широтой счастливец:

– Какая же это ерунда, ребята! Догадываюсь – нет денег на сигареты. Все это знакомо. У меня бывало – ни копейки.

– Что? – спросил кряжистый парень, подозрительно ощупывая Никитина остро-раскосыми глазами. – Что сказал?

– Я очень хочу купить вам всем сигареты, ребята, ведь я знаю, что такое, когда нет ни копейки, – сказал Никитин, кивая, подхваченный соучастливой добротой к ним и ничуть не разочарованный этой встречей, где нужна была его помощь, на этой затихшей до рассвета Пятницкой, с потушенными рекламами маленького кинотеатра «Заря», в синевато-летней прозрачности ночи. «Да, да, – подумал он, – мне не хочется идти домой. Я могу хоть целую ночь бродить по Москве, встречать поздних прохожих, закуривать, знакомиться, разговаривать с ними, вот как с этими парнями. Как это прекрасно – знакомиться с людьми!»

– Знаете что? – сказал Никитин дружелюбно и просто. – Если «Балчуг» не закрыт, пойдемте в ресторан, купим сигарет, какого-нибудь вина выпьем, поговорим. Хотите, ребята?

– За чей счет? Кто платить будет? – спросил кряжистый парень в коротеньком пиджачке, но подумал и сейчас же толкнул кого-то в сторону ресторана «Балчуг» за мостом. – Дуй туда!

Сразу двое парней бросились через пустынный мост к ресторану, светившему сквозь зашторенные окна; и видно было, как застучали они в задребезжавшую на всю улицу стеклянную дверь, затем появилась за стеклом фигура швейцара, донеслись требовательные голоса: «Открой, папаша!» – но дверь не открылась, темная фигура швейцара исчезла, после чего двое эти вернулись; один из них возбужденным шепотом сказал что-то кряжистому парню, и тот, хмыкнув, свинцово уперся глазами в переносицу Никитина, спросил, растягивая слова:

– Ты, фраер! Знал, что «Балчуг» закрыт?

– Жаль. Что ж, очень жаль, – разочарованно сказал Никитин и вздохнул, – а мне хотелось, ребята...

– Врал, бухарик? – со злой, игривой нежностью выговорил парень и, откинув пятерней лохматые волосы, будто хотел ударить, подмигнул остальным, стоявшим молчаливой группой. – Угощать хотел, а денег нет! Денег-то у тебя ни копейки!

Никитин смотрел на скуластое лицо его, не ощущая опасности, как не ощущают боли или насмешки сверх меры счастливые люди, и было лишь непонятно, даже оскорбительно ему подозрение в обмане.

– Нет, – сказал он искренне. – Ты напрасно... деньги у меня есть.

– Врешь, нету у тебя грошей! А ну покажи! – угрожающе и требовательно крикнул парень – и в этом резковатом «а ну» зазвучала нотка жестокой силы, и еще нечто хищное, ночное возникло в раскосых глазах, в широких его скулах.

И Никитин, уже трезвея от его недоброго взгляда, от этого неприятного голоса, увидел, как группка парней, исподлобно наблюдая за ними, чуть-чуть зашевелилась под фонарем и замерла в напряжении. «Сейчас что-то должно случиться», – подумал Никитин, разом почувствовав сквозной холодок в груди, и, понимая глупость положения и не понимая того, что он зачем-то вроде бы должен оправдываться перед парнем, усмехнулся обиженно ему.

– Ты большой чудак, я вижу, – сказал Никитин, нащупал в заднем кармане скомканные деньги, наугад вынул новенькие пятьдесят рублей и показал их. – Нет, я хотел с вами, ребята...

В ту же секунду рука парня крючкообразно мелькнула впереди, движением защитного инстинкта Никитин отдернул свою руку, пальцы парня успели уцепиться в край пятидесятирублевки, рванули к себе, выхватывая ее, послышался звук разрываемой купюры, и парень торопливо отступил на шаг, выговаривая хриплой задышкой:

– А ну, отдай всю бумагу, бухарик! Отдай сюда!

Позже, вспоминая ту ночь, Никитин думал, что если бы тогда парень спокойно попросил у него денег – пятьдесят или сто рублей, то он не отказал бы ему и был бы, наверное, доволен, совершив пьяный акт добра. Но было иначе.

– Зачем же? – шепотом выговорил Никитин, сначала не сообразив, почему парень не попросил у него деньги, а злобно, несправедливо попытался вырвать их, и мгновенная знойная волна темной жути, слепящей ненависти к этому парню, к его коротенькому пиджачку, к раскосым воспаленным глазам, к каждому его отвратительному жесту опалила Никитина; он договорил, заикаясь даже:

– Тут вас шестеро... а я с тобой хочу драться, п-парень! Ну что ж, д-давай!..

И, готовый драться, сунул клочок денег в карман, стиснул кулаки, шагнул вперед отрешенно.

– Не подходи, падло! Я сифилитик! Не подходи! – взвизгнул парень, исказив рот не то судорогой испуга, не то изумлением при виде внезапной отрешенности Никитина, и, отхаркнувшись, плюнул; плевок не попал в лицо Никитина, белым пятном прилип к груди, и только как в тумане уловив узкие глаза парня, Никитин кинулся к нему и с ненавистью и с наслаждением ударил его в костистый, лязгнувший челюстью подбородок, в мокрый рот, захрипевший заглушенным криком. Но сзади что-то черно и сильно оглушило его по голове, фонарь качнулся вбок, мостовая жестко царапнула щеку, замелькали, хрипя, вскрикивая, тени над ним, забегали вокруг, заскакали ноги, по-звериному пронзил его чей-то голос: «В печенку бей, в печенку!» И он, чувствуя острые удары ног под ребра, под грудь, охваченный одной сумасшедшей и мстительной мыслью: «Подняться, лишь бы подняться!» – рванулся с земли, упираясь в асфальт двумя руками, невероятным толчком вырвался из топота, толчеи окружавших его ног, метнулся вправо, влево среди полубезумных, почти нечеловеческих лиц, объединенных одинаковым оскаленным волчьим выражением, будто возбужденных видом крови. И без ощущения боли ударов, подчиняясь незнакомой, взорвавшейся в нем дикости, крича неистово и страшно: «Труссы! Сволочи!» – мотался в окружении тел, бил по этим ненавистным лицам, нагибаясь, выворачиваясь, едва не падая от бешено вложенной в сжатые до онемения кулаки силы, как обреченный дорого отдать свою жизнь. В то же время, безобразный, наверно, упоением неистовства, он, еще одержимый памятью зрения, лихорадочно искал взглядом лицо широкоскулого парня, стараясь прорваться лишь к нему, но тот возникал и пропадал за чьими-то спинами, плечами и там пронзительно вскрикивал подсказывающим голосом: «На землю его, на землю!»

Но когда на счастливый миг (это был счастливый миг!) он, задыхаясь, слыша, как трещит на нем пиджак, разрываемый в разные стороны крючьями рук, сквозь удары и пинки прорвался к парню, тот издал устрашающий взвизг горлом, отступая вдоль парапета набережной к мосту, и тут словно бы вокруг образовалась пустота, прекрасная, справедливая пустота, теперь никто почему-то уже не мешал им, а парень отходил по мосту боком и спешащими рывками вытаскивал что-то из кармана брюк, и вдруг блеснул длинной иглой распрямленный складной ножичек с серебристым тоненьким лезвием. И странно было – этот стальной блеск ножичка не вызвал у Никитина страха, наоборот, его слепо, неудержимо и яро кидала к парню какая-то разжатая до беспамятства пружина ненависти, которую ничем не мог в себе сдержать, и он упоенно, молитвенно, как в бреду, шептал:

– Ну, отлично, теперь мы один на один... Теперь я узнаю, стрелял ли ты когда-нибудь по танкам... («Зачем я говорю это? Почему это я говорю?») О, теперь все будет как надо,

трусливая ты сволочь... Такие и в войну были! О, такие, как ты, были еще в Древнем Риме... («Какой Рим? Зачем?») Ну что ж, ты или я?.. Посмотрим! Ты или я?..

– Не подходи-и! Сердце проколо! – заревел горловым голосом парень, иступленно трясая лицом, так что волосы забили по вискам его, и, прижавшись боком к перилам моста, остро выставил кулак с посверкивающим в нем прямым лезвием.

Должно быть, так озверело, устрашающе и утробно кричал первобытный человек, встречая черной ночью сильного врага мужского рода близ своей пещеры, замахнувшись, нацелясь смертельно-угловатым камнем, чтобы сделать прыжок и раздробить череп самцу чужого племени. Но пещеры не было, не было первобытного человека, была спящая Пятницкая, закрытый ресторан «Балчуг», мост через Канаву, широкоскулый, с омерзительно разбитым носом парень и он, Никитин, неузнаваемо окровавленный, истерзанный, в разодранных пиджаке и рубашке, глотавший кровь, наполнявшую рот, готовый в бешенстве и правоте бить, ломать, разрушать, защищать себя, свою наивность и что-то еще нематериальное, оскорбленное, раздавленное, но все-таки в те секунды Никитин уже не был Никитиным, а это придавало пещерно-дикое безумие тому, что он делал тогда...

– Хочу, чтобы ты все запомнил, сволочь!.. Нет, я этого не хотел!.. А вы шестеро на одного... Нет, нет, не в деньгах дело! – одеревенелыми губами шептал бредово Никитин, подступая к парню, к напряженно подрагивающему в его кулаке тоненькому, как игла, лезвию. – Ну, спрячешь нож? Или не спрячешь? Спрячешь? Или?..

– Не ле-езь! Проколою мошонку, падло! – опять взревел парень первобытным голосом угрозы и страха.

И в следующий миг Никитин почувствовал – по левой кисти больно скользнуло горячее, твердое, шатнулись впереди выкаченные злобой воспаленные глаза парня, черно открытый, сипом дышащий рот, на короткий момент увидел кровь на левой кисти, тотчас понял, что парень задел ее ножом, и, отклонясь, изогнувшись, правой рукой ударил его снизу в подбородок, услышал животный взвизг, выкрик ругательства, и опять перед ним промелькнуло полосою измазанное по скулам красным лицо парня, выкаченные из орбит глаза, и он снова ударил по близкому, влажному, отвратительному лицу, с мстительным сладострастием вкладывая в эти удары нечто жгучее, клокающее в его душе, кипящее и невыкипающее.

Потом сзади что-то тяжелое и темное обрушилось на него, резким толчком свалило с ног, и посреди суматошного топота вблизи головы, пинков, свиста, сквозь звон, заложивший уши, дошли до сознания два неясных вскрика, похожих почему-то на два обрывка ваты, летящих по воздуху:

– Шухер! Шухер! – И показалось ему: странно опустело везде, и нависла над ним тягуче звенящая тишина.

Тогда он вскочил, выплевывая кровь, шатаясь от чугунного шума в голове, но его властным охватом стиснул со спины какой-то незнакомый человек, говоривший ему: «Тихо, тихо!» – и, как в другом мире, увидел он парня у перил моста. Его держали за плечи два милиционера, жирные размазанные полосы обезображивали его широкий нос, его скулы; ножа не было. Парень, обессиленно вырываясь, дергаясь, не говорил, а выкашливал горлом:

– Шел домой, а он прицепился, гад!.. Пьянь проклятая! Шел домой, а он деньги стал требовать, гад!

А Никитин еле стоял, покачивался на ослабевших ногах, не было силы сказать ни единого слова, он только улыбался страшной улыбкой.

В милиции, куда привели их, парень рыдающим голосом кричал, повторяя, доказывал, что он шел из кино домой, а та вон проклятая пьянь начала приставать, полезла по его карманам и вырвала деньги, полсотни, – и истерическими жестами показывал, каким образом все было: выворачивал наизнанку карманы и потрясал перед дежурным порванной пятидесятирублевой бумажкой. Капитан, брезгливо-суховатый, широколобый, глянул из-за стойки взором

внимательной подозрительности, взял обрывок пятидесятирублевки («Н-ну-ка...») и положил на стол. А Никитин, усаженный милиционером на крепкую, обшарпанную скамью, смотрел на парня, вспоминая его ощеренное лицо в момент плевка («Я сифилитик!»), его хрипевший злобой и страхом окровавленный рот во время драки на мосту («Сердце проколю!») – и едва не плакал от бессилия и ненависти: им не дали додраться один на один, там, на мосту, кто-то из той стаи по-темному, по-трусливому нанес ему удар сзади, свалил наземь, подставив ногу, и сейчас, вот тут, в милиции, где без какого-либо сочувствия не могло быть понимания ни одной, ни другой стороны, невозможно было бы даже рассказать, объяснить подробности, причины всего, что произошло на набережной. Выкрики парня, его объяснения – «пьяный псих, бухарик», приставал, требовал деньги и затем, получив отказ, полез по карманам, чему доказательство – разорванная купюра, – это еще чем-то могло приблизиться к видимости правды, но то, что мог и хотел бы объяснить Никитин, выглядело необыденным, из ряда вон выходящим, ненормальным, а значит, затушевывало истину или являлось неправдой.

«Ведь сегодня, именно сегодня произошло главное в моей жизни, и я, наверное, был счастлив, если это и есть счастье, и просто мне хотелось быть добрым ко всем на свете и к этим незнакомым парням, которых случайно встретил...»

«То есть как это добрым? Конкретнее».

«Ну, у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось угостить их. Да, купить сигарет, посидеть с ними и поговорить».

«Ночью? С незнакомыми людьми? С какой целью?» «Вы понимаете – мне хотелось быть добрым. Со всеми. Разве с вами этого не бывает?»

«Мы, гражданин, все должны быть добрыми. Но по какой причине вам захотелось их угостить? Да какое вам дело до них? Вы кого-нибудь из них знали?»

«Не знал. Но разве это имеет значение?»

«Короче говоря, гражданин, вы пьяны были – так шли бы домой спать. Так ведь нормальные люди поступают».

«Нормальные – да».

«А вы что, на учете в психодиспансере? Может, у вас контузия после войны?»

«Пока нет, хотя контузия есть...»

«Где вы сейчас работаете?»

«Сейчас нигде. Дома. Вернее, снимаю комнату».

«А как так нигде не работаете? Получаете военную пенсию?»

«Нет, не получаю. После университета работал в газете, потом ушел. На что живу, трудно объяснить. Продал шинель, сапоги, офицерский компас... Что еще? Да, нагрудный знак «Гвардия» обменял на ботинки. Вернее, подарил его своему однополчанину, у которого два года назад украли в поезде все документы, знаки и ордена вместе с одеждой. А он мне купил и подарил ботинки».

«Значит, вы проживаете без определенных занятий и без трудовых средств к существованию? Так надо понимать?»

«Не совсем так. Средств у меня почти нет. Но я работаю целый день... с утра и до вечера. И ночью. Часто ночью. Почти всегда ночью. У меня нет сна. Вы знаете, как работали Достоевский или Бальзак? А Толстой, Флобер, Ренар? Вы читали «Дневники» Ренара?»

«Стыдно вам! Вы мне зубы не заговаривайте. Мы знаем, кто такой Толстой, разбираемся. Думаете, милиция, так здесь шухры-мухры, ушами холодными хлопают. Вон как – Толстого выдвинул. Вопрос ясный и конкретный – так чем вы занимаетесь? Род занятий?»

«Чем я занимаюсь? Род занятий? Хорошо, постараюсь ответить. Я с утра до вечера и ночью ищу фразу, нужную фразу и часто не нахожу... Но я хочу, больше всего в жизни хочу, чтобы люди смеялись, грустили, плакали над моим словом. Подождите, какую же глупость я вам говорю! Я другое должен объяснить. Посмотрите, посмотрите же на парня. Как он вели-

колепно лжет! Во имя чего? Он не напоминает вам Иуду Искарота? Не напоминает вам моего командира орудия Меженина, в которого я стрелял в сорок пятом году и не убил?»

Этот диалог, проскользнувший в разгоряченном мозгу Никитина, только померещился ему, как во сне, и, зажимая носовым платком поцарапанную ножом кисть, он, сразу отрезвленный новой душевной болью, увидел порочно-враждебные глаза парня, возмущенно и подбостранно говорившего что-то возле стойки, гнусные темные разводы вокруг его глазниц и разбитого носа. Потом увидел под направленным брезгливым взглядом дежурного свой до неузнаваемости растерзанный пиджак, который с трусливым наслаждением стайного превосходства недавно рвали на нем чужие руки (как будто знали, что это единственный его пиджак), представил себя в нелепой реальности, избитого, грязного, и все свои воображаемые объяснения насчет рода занятий, одержимости Толстого и Ренара, насчет искания слов, любви и доброты, – и странный, всхлипывающий звук, похожий не то на смех, не то на задушенные в горле рыдания, услышал он. И со стыдом удивился, почувствовав, что с ним происходит что-то сумасшедшее, никак не подчиненное его воле, – неподвластный сладкий злорадный смех, неудержимые рыдания душили его, распирали грудь. И он, задохнувшись, глотая этот смех и рыдания, видел в середине серой, текучей пустоты поднятое приказывающе-властное, сухое лицо дежурного, свой раскрытый паспорт на смешно, по-школьному заляпанном кляксами столе, подле чернильницы, рядом чье-то удостоверение, видимо, парня, на удостоверении смятый обрывок пятидесятирублевки и, стиснув зубы, с ужасом подумал: «Что это со мной? Какая-то истерика – хочется плакать и смеяться... Никогда этого со мной не было! Расшатались нервы, я собой не владею? Только бы не этот стыд... перед ними, на глазах у них...»

– Так это было, гражданин Никитин? – зашелестевшим серым песком достиг его слуха голос дежурного. – Вы в сильно нетрезвом состоянии, почти невменяемом, как видно и сейчас, пытались вырвать у гражданина Миляева деньги. Так это было?

– Да, да... – выдавил Никитин, и опять рыдающий смех вытеснился из горла, слезы катились у него по щекам.

– Верните разорванную купюру ее владельцу.

– Да, да, владельцу... пожалуйста...

Решенными движениями беспристрастной правоты крепкие крестьянские пальцы дежурного, отмеченные фиолетовым городским пятнышком чернил на суставе, неторопливо положили на удостоверение обрывок отданной Никитиным пятидесятирублевки поверх другого обрывка, захлопнули удостоверение и протянули его суетливо перегнувшись к столу парню.

– Возьмите, гражданин Миляев, свои деньги. В банке обменяют. Итак, гражданин Никитин, у меня несколько вопросов для протокола.

«Только бы сдержаться... Только бы не это удушье... Я унижаю себя. Я выговорить слова не могу. Что же... Что же это со мной?... Как с неврастеником. На фронте, если бы такое с моим солдатом случилось, я перестал бы верить в него», – говорил себе Никитин, давясь подступающим к горлу комом горького смеха, металлическим вкусом слез, и, чтобы не видно было мучительно-судорожных глотаний, отвернулся, сотрясаясь словно позывами тошноты.

– За решетку таких прятать надо, пьянь рваную!.. Наблюдает он еще у вас тут... – с дозволенным превосходством и подобострастием защищенного от насилия сказал парень и, как хозяин, узнавший свою вещь, поглядел на обе половинки пятидесятирублевки, затолкал их вместе с удостоверением в карман коротенького пиджачка, вновь заискивающе посуетился около стойки. – Мне идти, товарищ капитан? Я ведь рабочий человек, я ведь завтра в утреннюю. Не как другие...

И здесь все разжалось в Никитине. Парень стоял в двух шагах, вблизи деревянного барьера, скулы масляно лоснились, вспухший, осиненный рот зло и победно очеривался, выкаывая мелкие зубы. И не слова его, не подобострастный тон, не заискивание перед дежурным, а эта торжествующая победу гнусность, раскрытая ухмылкой, на какую-то долю секунды нари-

совала в воображении Никитина картину иного торжества, о котором он даже и не подумал тогда на набережной, когда увидел нож в руках парня: да, да, этим ножом, если бы успел, он «проколол» бы и сердце распятого на земле Никитина и, не задумываясь, выколол бы глаза с этой же ухмылкой победившей трусости.

– А где же твой нож? – выдавил шепотом Никитин и, точно в беспамятстве, захлебываясь смехом и плачем, ринулся на парня, увертливо отскочившего назад, – кулак достал лишь его плечо, жилистое, костистое. Но, отскакивая, парень не удержался на ногах, потеряв равновесие, хлестко ударился спиной и затылком о стену и тут же с хрипящим взвизгом подскочил к Никитину, которого уже не без крутой силы схватили за руки два милиционера, снова потащив на скамейку, и не ударил, а по-рысьи изловчился страшными твердыми ногтями окорять лицо Никитина от бровей до щек, целя, видимо, в глаза, и крик его бритвенным лезвием резанул по слуху:

– Видели? Видели?.. Он с ножом на меня!.. Нож он в Канаву выбросил! В Канаву, гад, выбросил!

Дежурный длинными прыжками выбежал из-за барьера, заученным движением поймал, завел обе руки парня на поясницу и так повел его к двери, гневно приказывая милиционерам:

– Обоих посадить! Только не вместе. Ясно? Обоих!

Часа через полтора в сумрачное помещение, насквозь пропахшее нечистым бельем, где на исцарапанной надписями скамье, морщась, вздрагивая, лежал Никитин, вошел милиционер и строго потребовал, чтобы тот умыл лицо и следовал за ним. Никитин умылся под краном милицейской уборной, вытерся носовым платком, и его вторично привели в комнату дежурного.

И, еще переживая чувство унижения при воспоминании о душившем его неподвольном полусмехе-полурыдании в присутствии милиционеров, Никитин вдруг с удивлением и тревогой увидел возле барьера дежурного пожилую сухонькую женщину, бледную, перепуганную, в старомодной шляпке, в стареньких туфельках, она смотрела на него взглядом беспомощного ребенка и повторяла почти шепотом:

– Вадим Николаевич, Вадим Николаевич, что с вами?

Это была его квартирная хозяйка Мария Павловна Стешнова, у которой он снимал комнату, вдова профессора-историка, умершего в войну, – существо доброе, стеснительное, краснеющее от любого грубого слова, – и Никитин, соображая, зачем, каким образом она оказалась здесь, мгновенно представил ее глазами свое разбитое, наскоро умытое лицо, донельзя разорванный пиджак и глухим голосом спросил дежурного, для чего в милиции Мария Павловна.

– Вызвал. По домашнему телефону, который вы сообщили, – ответил дежурный мрачно. – Вот ваш квартирант, Мария Павловна. Хорош? А?

– Я? Вам? Дал телефон? Что за ерунда! – не понимая, сказал Никитин. – Никогда! Я вам не давал никакого телефона!

– Что, что с вами, Вадим Николаевич, что с вами? – растерянно выговорила Мария Павловна и присела на краешек скамьи. – Вы же никогда не пили! Боже мой, кто вас так избил?

– Его изобьешь! – заметил дежурный; нетающий ледок стоял в его поднятых на Никитина непоколебимых, как сама истина, глазах. – Вот каким образом, Мария Павловна, на первый раз мы поступим, вот таким образом. На первый раз... Вы от нас берите его и везите на квартиру. Под вашу личную ответственность. Все. Идите. Вот паспорт. Не верится мне никак, гражданин Никитин, что вы статейки в печать пописываете. Напиваетесь и налеты на людей учиняете. Как это назвать?

– Ради бога, Вадим Николаевич, ради бога, идемте скорее отсюда, – забормотала, оробело заспешила Мария Павловна. – Пойдемте домой, голубчик, вам холодный компресс надо. Как же вы сейчас на улицу покажетесь?

Она извинительно закивала старомодной шляпкой дежурному, взяла руку Никитина дрожащими пальцами и потянула осторожненько к выходу, вроде бы несколько не уверенная, что вот сейчас ее выпустят отсюда вместе с Никитиным и все обойдется, все станет на прежние места.

– Извиниться бы вам следовало, гражданин Никитин, – сказал дежурный хмуро. – Ни в какие ворота не лезет, набезобразили...

– Голубчик, Вадим Николаевич, извинитесь, ради бога!

– Простите, Мария Павловна, одну минуту... – задержался Никитин, и злая едкость качнулась в его душе; он взглянул на дежурного насмешливо. – Вы правы. Я напиваюсь и по ночам граблю, вырываю у людей деньги. Вы со всей очевидностью установили истину. И мои деньги отдали этому великолепному, честному парню. Желаю вам всего хорошего. Черт с ними, с деньгами! Но извиниться, к большому сожалению, я не могу.

– Идите, идите! – раздраженно поторопил дежурный. – Болтаете много, гражданин Никитин! Оч-чень много болтаете, хоть и статейки пишете!..

Потом на улице, тихой, побеленной близким рассветом, – четко виден был сереющий асфальт, мостовая, рассеченная полосами трамвайных рельсов, – Никитин, подавленный вызовом Марии Павловны в милицию, неловкостью, все-таки спросил ее, неужели звонили на квартиру, разбудили ночью, справлялись о нем, и стал извиняться за глупейшее и непредвиденное беспокойство, по его вине причиненное ей ни за что ни про что в результате идиотского недоразумения.

А она, сконфуженная, слушала его, согласно встряхивала наивной и нелепой шляпкой и ничего не спрашивала, вздыхала тихонько, подобно кроткому ангелу-хранителю, не требующему оправданий.

«Как же я раньше... не знал ее?» – подумал Никитин.

Он жил у нее более года, но за это время, кроме обязательных фраз, они, казалось, не обмолвились ни одним искренним словом.

– Мария Павловна... – охрипшим голосом сказал, проклиная себя, Никитин, охваченный стыдливой и благодарной нежностью к ней. – Мария Павловна, простите... Я был неаккуратен... У меня просто не было денег. Я ведь должен вам за четыре месяца. А вы не спрашивали... У меня теперь есть деньги. Пожалуйста, я сейчас заплачу вам все... Простите меня...

И он поспешно принялся рыться в карманах, собирая смятые деньги, а когда, уже в замешательстве, пересчитал купюры несколько раз – денег, в общем, не было: от трех тысяч осталось семьсот пятьдесят рублей с мелочью. Он вспомнил летнее кафе в Парке культуры, салон речного трамвайчика, где не Вихров, а он платил за все, и никак не мог взять в толк, почему же так много было истрачено денег – тем более в минуты драки, кажется, никто из парней не успел обчистить его карманы.

– Простите, Мария Павловна, я, по-моему, потерял деньги, – проговорил Никитин, сгорая от собственной лжи, и как-то спеша, неудобно начал совать ей в руку комок денег. – Здесь за два месяца... Остальные я потом, потом. Очень скоро, поверьте мне.

Она с испугом остановилась, пятнисто и ало краснея, что бывало при виде грубости или намека на грубость, замотала шляпкой смущенно.

– Бог с вами, Вадим Николаевич, какие сейчас деньги, послушайте... Не надо, не надо, ради бога. Когда будут, тогда и отдадите. Я потерплю, потерплю, мне сейчас не надо.

– Мария Павловна! – взмолился он. – Я прошу вас!

– Не надо мне, не надо, – запротестовала она и при этом руку протестующе завела за спину. – Идемте же, Вадим Николаевич. Сейчас вам надо холодный компресс на лицо, а то как же вы?.. И, пожалуйста, неудобство свое забудьте. У меня ведь сын был. Я многое понимаю...

Он шел рядом с ней, чуточку придерживая под локоть, как мог бы держать только мать, которой не было в живых, и всю дорогу бормотал ненужные извинения, боясь споткнуться и помешать движению ее легкого, сухонького тела.

Много лет спустя, будучи зрелым человеком, восстанавливая в памяти тот день и ту ночь, он испытывал странное, пугающее его чувство: упоение добром, щедростью и любовью было равно одержимому упоению ненавистью.

Глава пятая

– Нас разъединяли забытые сороковые годы, но... сейчас нас разъединяют политические системы. Я за мир между русской и немецкой интеллигенцией, господин Никитин. Как по-русски? Н-на ваш-ше здоровье!..

– Эта русская фраза уже стала международной. Ваше здоровье, господин Дицман!

Они сидели около камина в большой гостиной госпожи Герберт, ворсистый ковер подстриженной лужайкой зеленел под светом торшеров, пружинил под ногами, потрескивали, несильно постреливали разгоревшиеся поленья, и вместе с благодным целебным жаром и вкусом коньяка, отпиваемого между фразами, Никитин чувствовал некое ироническое веселье духа, готовый вне зависимости от того, какие вопросы хотят и будут задавать ему, заранее безошибочно предположить степень отчуждения своего и чужого, пропитанного долей ядовитого политического скептицизма, всегда возможной межи, даже на этой домашней территории немецкой гостиной, с ее приятным, умиротворенным комфортом и тишиной, по-видимому, особенно располагающей для вечерних разговоров вблизи разожженного камина.

После того как он и Самсонов вошли в гостиную и хозяйка дома, госпожа Герберт, привезшая их на машине из отеля, представила обоим собравшимся здесь, по ее словам, избранным, близким друзьям, после принятых в таких случаях корректных вопросов о дорожной усталости, необязывающих замечаний по поводу сырой гамбургской осени, которая, к сожалению, в нынешнем году необычно дождлива и простудна, после вежливого выяснения, кто что будет пить, господин Дицман, главный редактор крупнейшего издательства «Вебер», где были переведены последние романы Никитина, с намекающим подмаргиванием завладел двумя бутылками (мозельское и коньяк – про запас!) и довольно настойчиво отвел Никитина в угол гостиной, со смехом сообщив остальным, что он на время аннексирует советского писателя для выяснения некоторых истин.

Но госпожа Герберт весело возразила, что не позволит отдавать русского писателя на растерзание альтернативами немецкому критику, ибо слишком хорошо знает эгоцентризм господина Дицмана, поэтому приглашает всех к камину, поближе к огню, для общего разговора. И тогда заковылял к столу плотным коренастым телом, уютно развалился в мягчайшем кресле, заблестел лысиной краснолицый издатель господин Вебер, и гибкой змейкой свернулась рядом его жена Лота Титтель, популярная актриса театра, высокая, узкобедрая, говоря хриловатым, как бы ломающимся отроческим контральто:

– О, я хочу посмотреть на Восток и Запад. Чем это кончится? Объявлением войны?

Ни на минуту не сделав передышки, господин Дицман, одержимый жадностью натренированного ума, вгрызлся в Никитина, словно обрадованный нечастой этой возможностью, и быстрота его речи, наркотический блеск насмешливых глаз на бледном лице, безостановочные движения сухих пальцев, которыми он то сжимал стекло бокала, то живо подносил к островатому носу раскрытую пачку сигарет, порывисто втягивая табачный запах (он бросил курить из-за недавнего сердечного приступа), – его жесты и речь сначала настроили Никитина на полусерьезный лад, на свойственную литературным салонам игру умственных упражнений, он подумал: «Пожалуй, господин Дицман из бывалых и ловких репортеров». Но чем дальше продолжалась эта «игра», тем все глубже и серьезнее погружался в нее Никитин, уже заинтересованно поглядывая на нервные руки Дицмана, когда тот, платонически наслаждаясь, нюхал раскрытую пачку сигарет. Самсонов по просьбе Никитина переводил дословно только сложные фразы, и вид его был солидно-невозмутимым, пиджак, застегнутый на все пуговицы, круглился, натянутый животом: ему было жарко около камина, капельки пота выступили на лбу.

Госпожа Герберт сидела напротив Никитина, воротник черной кофточки, наподобие свитера, облегал белую шею какой-то грубоватой мужской нежностью, продолговатый золо-

той медальончик покачивался на тончайшей цепочке, ее волосы, по-русски убранные пучком, поднятые над маленькими ушами, ровно отливали полосами седины, и эта заметная седина странным образом не соответствовала ее чересчур подобранной, по-девичьи опрятной фигуре. И Никитин мимолетно подумал, что подобное несоответствие бывает у женщин, ни разу не рожавших, может быть из-за нелюбви к детям, может быть, по причине аскетической воздержанности, которая заставляет тщательно и всю жизнь ухаживать за своим телом.

Это, видимо, было не совсем так, – госпожа Герберт не ограничивала себя по-монашески: пила коньяк, много курила, ее глаза проступали за сигаретным дымом, казалось, налитые тихим возбуждением, пристально светились синей влагой.

Ее взгляд все чаще наталкивался на взгляд Никитина, как-то понемногу раздражающе начинал беспокоить его порой встревоженной мгновенной улыбкой, будто она подробно, украдкой от других, изучала и его костюм, и галстук, и его запонки, когда он отпивал коньяк или зажигал спичку, и ему невольно хотелось пошевелиться под ее взглядом, переменить позу, как если бы долго и надоедливо фотографировали его.

А когда госпожа Герберт, опуская улыбающиеся глаза, стряхнула пепел с юбки, затем тронула кончиками пальцев медальон на груди, Никитин не без досадливой иронии предположил, что хозяйка дома на самом деле фотографирует его этой штучкой или же тайно записывает крохотным магнитофончиком. «Но к чему? Прок-то здесь какой? Вздор и чепуха!» И, кратко ответив на очередной вопрос господину Дицману, он мысленно отверг унизительное свое предположение и, стараясь не смотреть на госпожу Герберт, вдруг вновь почувствовал на себе ее ищущий пристальный взгляд. Как от чужого прикосновения к коже, как от сквозного холодка, он нахмурился, взглянул и так неожиданно близко увидел ее лицо, не успевшее измениться, обмануть его, скрыться за дымком сигареты, что даже как-то озяб, содрогнулся. Он был удивлен слабо дрожащей в уголках ее губ виноватой полуулыбкой-полугримасой, ее вопросительно-нежным, смешанным со страхом взглядом остановленных на нем глаз, этим, чудилось, знакомым выражением, напомнившим что-то больно, туманно и неуловимо. «Что это напоминает? Что? Может быть, когда-то увиденный во сне синий над фантастическими крышами клочок непостижимого неба, может быть, утренний ветерок в радостном, как детство, солнечном поле с запахами весенних далей?.. Что это? Я никогда не видел госпожу Герберт, никогда не встречался с ней, только здесь, в аэропорту, впервые... Игра подсознания? Мистика? Совсем хорошо... Скорее, просто нервы, мнительность, – подумал он, но, вопреки этому самоуспокоению, нечто незавершенное оставалось в его сознании, некий осколочек неразрешенного беспокойства, какое бывает при поиске утраченной в памяти чужой фамилии. – Сорок пятый год? Война? Берлин? Мы стояли на немецких квартирах? И я ее где-то видел? Видел этот вопросительный, виноватый и мягкий взгляд? Да сколько лет ей было тогда, если уж так? Однако, может быть, где-нибудь случайно – на улице в Москве, в поезде, наконец, за границей, было очень похожее, оставшееся в памяти? Встречаются же люди в разных концах света с одинаковой внешностью, голосом, фигурой, как известно, двойники... Все это похоже на галлюцинацию! Со мной опять что-то неладное...»

Он знал, что был не очень здоров. В последние годы, после смерти шестилетнего сына Игоря, с Никитиным от времени до времени случалось странное, порой никак разуму не понятное, объяснимое лишь крайним переутомлением, расстройством нервов. Его стали угнетать ночами бессонные приступы тоски, угрызения совести, необоримого одиночества, – и мучительным удушьем сдавливало горло, заслоняло дыхание, как в те страшные, незабываемые минуты, когда на кладбище поцеловал, прощаясь, ледяной треугольник ротика своего сына и увидел сквозь полуприкрытые его ресницы, опущенные снегом, васильковый, неживой цвет его глаз, всегда сиявших детской открытой радостью, всегда готовых к смеху, игре, едва он с криком и визгом, мотая соломенными волосами, вбегал по утрам в кабинет, словно бы скры-

ваясь от кого-то, и потом с размаху прижимался к коленям, весь пахнувший сладкой птичьей чистотой.

В тот зимний день на кладбище Никитину мнилось, что он сошел с ума: он ощутил, или ему вообразилось, что сомкнутый холодный ротик сына с нарастающими снежинками беспомощно, слабенько шевельнулся в ответ на его последнее прикосновение, и этот пахнувший зимой холодок маленьких губ вполз в него бесконечной, разрывающей душу мукой.

Он не мог оставаться в Москве, в осиротелой, сразу ставшей большой квартире, где еще звучал, жил живой топот, визг, крики и запах Игоря, где в кровати еще лежали его собранные игрушки. Он уехал из города и до одурения, до полной бессонницы, до галлюцинаций работал на даче один, совсем один в пустом доме без телефона, поздними вечерами затапливал печь, часами смотрел на огонь, слыша осторожно скребущуюся возню мышей в старом шкафу, вздрагивая при выстрелах заколенивших в саду на лютom морозе деревьев. Раз глубокой ночью среди полнейшей тишины сидел за столом, залитым белым светом лампы, и внезапно, весь охолонутый ударом страха, услышал негромкий, вкрадчивый стук в окно кабинета, и, не находя силы выпрямиться, встать, отдернуть занавеску, он с ужасом предчувствия (кто мог стучать в окно второго этажа?) подумал о каком-то предупреждении рока, о каком-то сейчас случившемся несчастье с женой и, мертвея, в ознобе, на непослушных ногах поднялся из-за стола, еле отодвинул занавеску, боясь увидеть и представляя за стеклом грозный и неотвратимый знак судьбы... Но там никого не было. Морозная ночь, чернея вершинами елей в темном небе над крышами поселка, сверкала в пустыне неба, переливаясь созвездиями, и крупная, прекрасная, как первая любовь, голубая звезда нежно и косматом мерцала, пульсировала, порхала на одном месте – над заваленными сугробами коридором просеки.

И, прислонясь лбом к мерзлomu стеклу, он тогда подумал, что Игорь ушел из этого земного мира, так и не увидев, не познав, не ощутив вот такого ночного неба, в котором было все: жизнь, юность, молодость, ожидание любви, сожаление о невозвратно прожитых годах, и где была непостижимость смерти сына, уже выраженная беспощадной невозможностью видеть ни само это небо, ни это далекое, околдованное порхание пылающей звезды...

На рассвете, в глухой стуже, хрустящей, деревенской, сугробной, он побежал на станцию, разбудил ничего не соображавшего дежурного, кинулся к телефону, набрал номер московской квартиры, а когда отозвался в трубке сонный, захлестнутый испугом голос жены, спрашивающей, что случилось, задохнувшись, ответил шепотом: «Я хотел услышать тебя», – и затем целый час стоял на перроне, курил, справляясь с сердцебиением.

Это тихое сумасшествие продолжалось до осени.

– Вы сказали, господин Дицман, что вы за мир между интеллигенцией. Какой смысл вы вкладываете в свой лозунг?

– Не лозунг, а вера, господин Никитин. В лозунгах я давно разочаровался. Вы хотите коснуться политики?

– Сейчас – нет. Воздержимся по мере возможности.

– Если они объединятся, – проговорил все время молчавший Вебер и залился смешком, погонял соломинкой в коктейле ломтик лимона, – то организуется какая-нибудь чепуха и очень и очень большая говорильня. Каждый день начнут придумывать что-то немыслимое. Какую-нибудь карманную революцию. А я не интеллектуал, а издатель, что буду делать я? Я останусь реалистом. Нет, нет? Я буду по-прежнему выпускать книги на спрос и выпускать программы по телевидению, скажете, нет? По вечерам во всех немецких домах будут смотреть меня, а не слушать вашу заумную болтовню. Нет? Нет? Детективные фильмы, ревью, хорошая реклама – для немцев гораздо больше, чем словесные закавычки интеллектуалов.

– Теперь видно, что вы капиталист, – сказал Самсонов и пошутил: – Даже по внешнему виду вы похожи на представителя крупного капитала.

Господин Вебер, удобно развалившийся в кресле перед камином, полненький, краснолицый, с крепкой и гладкой лысиной,пил мало, казалось, в дреме потягивал через соломинку лимонный коктейль и после замечания Самсонова почмокал губами, небольшие умные глазки его стали чутко-внимательными.

– Внешне я похож на вас, господин Самсонов. – Принимая шутку, Вебер благодушно очертил соломинкой в воздухе габариты Самсонова. – Похож, хотя по вашим законам вы не имеете права владеть ни издательством, ни акциями телевидения. Нет? Нет? – Он тянул слова, произносил их полувнятно, однако эти вопросительные «Nicht? Nicht?» выговаривал жаргонной скроговоркой, что сглаживало серьезность его речи и располагало на мирный лад. – Судя по вашим... мм... печатным представлениям, по вашим карикатурам в газетах, – продолжал господин Вебер, и заплывшие смешливые его глазки задвигались весело, – капиталист – это кто? Господин с большим животом, в жилете, сидит на мешке с долларами, к тому же двумя руками душит за горло бедного голодного рабочего, и зубы оскалены. Нет? Нет?

– Имело место, господин Вебер, – согласился Самсонов, потянув ниточку разговора к себе. – А как иначе прикажете показывать капиталиста? Разве это не отвечает сути?

– В этом случае вы можете со мной не спорить, – совсем добродушно возразил Вебер. – Я давно собираю коллекцию карикатур на капиталистов. Из всех газет мира: я должен видеть свой облик в понимании других. Карикатура в ваших коммунистических газетах – это, надо полагать, политическое отношение к моему классу... И это мне интересно знать. Лота! – И он помахал соломинкой в направлении бутылок на столике, ласково прищуриваясь на молодую свою жену. – Что-что, а считать я умею, по два куса льда ты кладешь в виски. Не сядет твой голос? Нет, нет?..

– Ты почему-то хочешь знать, что думают о твоих деньгах люди, презирующие деньги, – сказала Лота Титтель низким контральто. – Твое хобби приносит тебе сомнительное удовольствие.

– Как у нас, так и у них политическая карикатура – жалкая и грубая пропаганда, рассчитанная на толпу! – вставил господин Дицман и поднес к носу пачку сигарет, сильно вдохнув запах табака. – Я не хотел бы сейчас копаться в дрянной политике! От нее болит голова. Не так ли, господин Никитин?

– Так. И не совсем так. Что может современный человек без политики?

– Но, господин Никитин!..

– Вот что я вам скажу, господа, насчет политики без всяких «но», – решительно, по-мужски вмещалась Лота Титтель, и косметически красивое, удлиненное ее лицо с веерообразными ресницами и ниточками бровей страстно порозовело. – Я почувствовала на своей шкуре эту самую политику, если хотите знать! И это было неприятно. Я недавно была приглашена в Польшу, пела немецкие песенки, немного классики, немного западных шлягеров. Мне заказывали прямо из зала... Меня нигде так не встречали, как в Варшаве! Я просто влюбилась в поляков! Потом я допустила идиотский просчет. Мне нравится песня о Тамерлане. Очень популярная у нас, на Западе. Страшный восточный завоеватель, жестокий и сильный, после того как завоевывал города, он желал обладать пленницами. И набрасывался на них как зверь – р-р-р! – Она положила янтарный мундштук, заправленный ментоловой сигаретой, в пепельницу, изобразила скрюченными пальцами, как Тамерлан, исполненный дикой страсти, набрасывается на пленниц, и продолжала: – Этот шлягер заканчивается пристальным взглядом в зал и вопросом: «А есть ли среди вас Тамерлан?» Сначала в зале было тихо, мне никто не аплодировал. И только через минуту похлопали из вежливости. Вот как я обидела моих любимых поляков...

– Когда вы едете, прелестная Лота, на Восток, следует тщательно выбирать репертуар, – не отнимая пачку сигарет от раздувающихся ноздрей, заметил иронически Дицман. – Восток не всегда воспринимает юмор западного толка. Между нами есть разница.

– Разумеется, господин Дицман, – не без яда сказал Самсонов. – Восток до сих пор занят проблемами белых медведей, мешающих трамвайному движению, и проблемой покупки валенок для посещения театра.

– О, о! – вскричал, оживляясь, Дицман и, бросив пачку на столик, поднял обе руки. – Сдаюсь, атака с Востока! Тогда ответьте мне, господа русские, почему ваши солдаты насиловали немок, когда вошли в Германию?

– Насиловали? Вы убеждены? – удивился Никитин.

– Я знаю, господин Никитин. И не один случай.

– Но, может быть, в некоторых случаях немки сами хотели испытать этого восточного Тамерлана? Возможно считать и так? – ответил Никитин, сохраняя меру светской вежливости. – Категорическое утверждение всегда рискованно, господин Дицман.

Тотчас все повернулись к нему, настороженные повышенным интересом, вроде бы ответ его снял с чего-то табу; госпожа Герберт, опустив глаза, молитвенно тронула медальончик на груди, погладила, потеревила его, натягивая маленькую цепочку; господин Вебер сквозь пыхтение пустил смешок, Дицман заострил насмешливый взгляд, приготовленный к возражению, однако Лота Титтель неожиданно подбоченилась по-крестьянски, и тряхнув по плечам золотисто-рыжими ручьями волос, воскликнула:

– Правильно, господин Никитин! Женщину невозможно изнасиловать, если она не желает! А я хочу сказать о другом – о поляках, господа! Я полюбила умных, тонких и музыкальных поляков. Они гостеприимны, воспитанны, они ничего не говорили о войне при мне. Они молчали. Они не хотели напоминать. Когда я сказала, что хочу посмотреть Освенцим, мне ответили, что этого не надо делать: мне, немке, будет неприятно. Тогда я настояла и поехала в Освенцим и сама увидела настоящий ад. Там можно сойти с ума, достаточно представить! Безмозглые садисты – вот кто они были, военные немцы! Мне хотелось царапать морды нашим эсэс! И вот что я вам скажу: теперь смешно говорить про какое-то дурацкое изнасилование бедных и невинных немок. Нам следует просто заткнуться!

– Война есть война, милая Лота, – сказал Дицман, усмехаясь. – Многим немцам как типу свойствен не садизм, а мазохизм, выраженный в беспрекословном послушании. Война – это приказ. Вы плохо знаете ту пору, прелестная Лота!

– Война – это дерьмо, дерьмо без всяких интеллигентских философий! – скандально оборвала Лота Титтель и дымящейся в мундштуке сигаретой показала на господина Вебера, взглянувшего на нее из глубины кресла нежно-снисходительными, расположенными к любой ее детской шалости припухлыми глазками. – Мой капиталист не захотел взять на телевидение фильм, который я сняла в Освенциме. Он говорит, что этого никто не будет смотреть, а сам напичкивает программы дерьмовыми американскими детективами и вестернами, этим киномусором для канализационной трубы! Одно и видишь: потертые джинсы на острых мужских виляющих задницах и – пиф! паф! уэл, уэл! – Лота Титтель скривила рот, произнося задуманным басом «уэл, уэл», щелчками языка подражая звукам беглых выстрелов и нацеливаясь мундштуком в бокалы на столике. – Это нужно только телячьим мозгам, которых слишком много развелось за последние годы! Никто не желает как следует ни о чем подумать! Все думают день и ночь о холодильниках и машинах – и хотят делать деньги, как в Америке!

– Лота, – мягко сказал господин Вебер, по-видимому привыкший к грубоватой несдержанности жены, и спрятал многоопытные свои глазки в бокале с коктейлем, погонял соломинкой ломтик лимона. – Ты в первую очередь очаровательная актриса, а не депутат бундестага от социал-демократической партии... Нет, нет? Сейчас никто не хочет возвращаться к прошлому, беспокоить себя, усугублять комплекс вины. Нет, нет?

Лота Титтель сделала резкий протестующий жест, опять тряхнула рыжими волосами.

– Потому что политика – все то же дерьмо, Карл! Все как сумасшедшие делают деньги, и скоро Германия превратится в последний американский штат в Европе! Мы скоро не будем

видеть неба, как разжиревшие и похотливые свиньи! Тебя нацисты морили в концлагере, Карл, но и ты не хочешь ничего вспоминать! Деньги, деньги, деньги!..

Господин Вебер, с прежней нежностью поглядывая на жену, почесал лысину, пососал через соломинку коктейль и заговорил примирительным тоном человека, безобидно для всех желающего утвердить зыбкую непостижимость истины:

– В сорок пятом, когда освободили концлагерь, никто из нас не думал о деньгах, Лота. Я тогда был вот такой... – Вебер оттопырил мизинец. – Нет? Нет? Таким, господа, вы меня не можете вообразить. Я был тощий сморчок и едва мог двигаться от истощения... Но была уже свобода, и я смотрел со слезами на солнце, на траву – была сохранена жизнь, проклятая война закончилась, нацистов уже нет, тогда я был счастлив, господа!..

– Вас освободили русские или американцы? – поинтересовался недоверчиво Самсонов.

– Нас освободили американские солдаты. Они приехали на танках и сломали ворота. Втроем мы вышли из лагеря на дорогу и пошли в американский госпиталь. Со мной был англичанин, сбитый летчик, аристократический молодой человек, окончил Оксфордский университет; и двенадцатилетний мальчик, отец его умер в лагере. У нас не было сил в тот день свободы. Мы тащились по дороге и улыбались весеннему дню, как безумные счастливы. Везде валялись в кюветах разбитые бомбежкой машины, и в одной, помню – грузовой «оппель-блиц», – был разбит сейф с деньгами. Миллионы, целые миллионы марок пачками высыпались на асфальт. Что? Нет, нет? Марки летели по дороге, они скапливались в кюветах, липли к подошвам, просто как рекламные листки. Никто не обращал на них внимания. Жизнь, господа, пьяное ощущение жизни – и больше ничего! И только один наш милый мальчик собрал несколько купюр, как собирают почтовые открытки. Нет, нет? Потом мы дошли до американского госпиталя, упали на пол и заснули как убитые. Когда я проснулся, рядом лежал мальчик и с интересом смотрел на деньги...

– Как? Рядом лежал мальчик! – вскричал с живостью Дицман и закинул ногу на ногу, покачивая узконосым полуботинком, видна была подвижная щиколотка из-под узких брюк, обтянутая красным шелковистым носком. – Очень любопытно, господин Вебер! Нежный двенадцатилетний мальчик?..

– Вы, интеллигенты, – благодушно перебил Вебер, – всюду ищите секс.

– Ловлю вас на слове, господин Вебер! – засмеялся Дицман и заговорщицки стрельнул наркотически яркими глазами в Никитина и Самсонова. – Как звали мальчика?

– Я хотел сказать, – продолжал господин Вебер, – что через три дня было объявлено: старые рейхсмарки входят в обращение. Но и тогда мы не очень жалели, что не набили карманы деньгами... Что бы сделал сейчас я, если бы посчастливилось найти на дороге разбитый сейф с деньгами? Позвонил бы в полицию, может быть, и сошел бы с ума в психиатрической больнице от своей нерешительности. Нет, нет?

Его полнокровные красные щеки как-то плутовски надулись, он пыхнул рассыпчатым смешком, и тут Никитин сказал разочарованно:

– Какой хороший сюжет вы испортили, господин Вебер.

– Я продаю его вам в первозданном виде, – ответил довольный господин Вебер. – Вставьте мой сюжет в роман, который я издам хорошим тиражом, пять процентов от проданной книги мне... Впрочем, можете заплатить черной икрой в Москве. Нет, нет?

– Контракт! Я выписываю чек! Но при условии, если в романе будет нежная история с мальчиком! – ернически воскликнул Дицман и выхватил из внутреннего кармана пиджака чековую книжку, потряс ею. – Думаю, что при вашем таланте, господин Никитин, вы эту пикантную историю написали бы весьма впечатляюще!

– В шутке явное предложение. – Самсонов толкнул под столиком ногу Никитина. – Ясно?

– Благодарю вас, – сказал Никитин. – Спрячьте чековую книжку, иначе вы соблазните меня лаврами Генри Миллера.

– Сюжет куплен за одну марку, господа! Разрешите мне быть поверенной господина Никитина?

Госпожа Герберт щелкнула замочком своей лаковой сумочки, повертела перед всеми новенькой металлической маркой и вложила ее в карман господина Вебера; тот, побрякивая, подмигивая, похлопал рукой по карману, говоря:

– Сюжет продан слишком дешево. Нет? Нет?

– Благодарю, госпожа Герберт, я готов взять вас в секретари, потому что уверен – не прогорю, – сказал Никитин.

Она улыбкой ответила на этот милый словесный пустяк, а он с насильной попыткой найти твердую точку ощущения опять, как в раздражающем воспоминании забытой, вертящейся на памяти фамилии, подумал, что тот вопросительный, долгий, пристальный взгляд ее, удививший его, и постоянно улавливаемое им внимание ее, и эта полукокетливая улыбка была в схожих обстоятельствах и раньше когда-то: так же в некий час шло тепло от камина, тянулся сигаретный дым под зонтиком торшера, так же сидел он напротив какой-то женщины, говорил ей те же необязательные слова, какие говорил сейчас, и она отвечала ему неясной улыбкой, уже виденной им в смутно прошедшем кругу другой жизни. Но при всем усилии памяти он не мог ничего вспомнить точно, ибо это были не мысли, а тени мыслей, не реальность, а слабая тень реальности.

«По-моему, она чем-то обеспокоена, она в чем-то опасается за меня, – думал Никитин. – И это передается мне ее взглядом, улыбкой и вот этой маркой, которой она очень быстро закончила разговор».

– Как странно, господа, вы обсмеяли время, связанное с войной, – проговорил недовольно Самсонов, скрестив на груди руки. – Деньги, мальчик, пикантные истории. В конце концов, есть и серьезные понятия, связанные с прошлой трагедией Германии. Я имею в виду судьбу вашего народа, родины, ответственность перед будущим. За что погибли миллионы немцев?

Господин Дицман вскинулся, подпрыгнул в кресле, всплеснул всеми десятью растопыренными пальцами над столиком.

– Что? Понятия «родина», «народ»? «Ответственность»? Они давно перетерпели инфляцию! Они были использованы Гитлером в нацистских целях и дискредитировали себя! Старые понятия «отчизна» и «долг» теперь опять используются маленькой кучкой реваншистов! Вы плохо знаете современного западного человека, если говорите о довоенных добродетелях. У западного человека нет сейчас родины в вашем понимании! У него есть паспорт, есть формальное гражданство, только это соединяет его с государством! На немецком паспорте написано: для всех стран! Для всех стран, господин Самсонов!

– Итак, я уяснил: полнейший космополитизм? Разумеется, так легче жить свободным интеллектуалам в абстрактном мире, так сказать!

– Как? Космополитизм? Абстрактно? Ха-ха! Вы остроумно сказали! – вскричал Дицман. – Космополитизм – прекрасно, каждый свободен в выборе, и никому нет ни до кого дела. Но... свобода на Западе несет с собой и равнодушие, и отчуждение друг от друга – парадокс современного мира! Я не хочу ничего приукрашивать, господин Самсонов! Западный интеллигент одинок. Очень одинок.

– Значит, при диктатуре нацизма не было... этого проклятого одиночества, отчуждения людей, господин Дицман?

– В той степени, как сейчас, нет. Было другое – страх. Сейчас не сажают в концлагеря, не убивают, никого не преследуют... и в то же время отчуждение людей – не меньшая и не лучшая болезнь общества, чем проклятый человеческий страх! Да, это так!

– Тогда разрешите спросить: в чем дело? – упрямо выговорил Самсонов, выдерживая стремительный натиск Дицмана, и сильнее сплел руки на груди. – Выходит, что неплох был третий рейх с его понятиями фатерланда и «Дойчланд, Дойчланд юбер аллее»?

– Вы хотите заподозрить во мне приверженца гитлеровской диктатуры?

– Не хочу. Но мне известно, что нацистский аппарат на десять процентов состоял из интеллигенции, господин Дицман. Именно в недалекой истории интеллектуалы Германии нередко играли роль своего рода духовной полиции. Я не знаю вас и говорю о той интеллигенции, у которой руки по локоть в крови, извините за откровенность!

– О, господин Самсонов!.. – с мягким упреком произнесла госпожа Герберт, взглянула на худощавое лицо Дицмана и потупилась.

«Подавил первые огневые точки, сейчас без передышки начнет утюжить траншею, узнаю Платона, – подумал Никитин, испытывая досаду на неумеренную резкость Самсонова, в запальчивости переступившего как бы запретный предел в споре. – Но почему мне кажется все время, что она не хочет никакого обострения спора и встревожена чем-то?»

– Вы обвиняете нас в грехах наших отцов? – спросил господин Дицман, по всей видимости, не ожидавший сердитой прямоты Самсонова, и, всем видом своим отказываясь что-либо понимать, страдальчески завел глаза к потолку. – Вы утверждаете, что кровь на руках наших отцов испачкала и наши руки?

– Говорите, говорите, господин Самсонов! – Лота Титтель, нетерпеливо взмахивая веерообразными ресницами, возбужденная выпитым виски, грубоватым напором этого неуклюжего русского, гибко полулегла в кресле, при этом ее тугая, тонкая, затянутая во что-то серебристое фигурка выражала острейшее любопытство, и Никитину пришло в голову, что она, вероятно, еще не переутомленная жизнью и славой эстрадной певицы, любила смотреть бокс, спортивные состязания, даже случайные драки в кабаках, где с азартным удовольствием могла подбадривать обе стороны стуком кулачка по столу, пронзительным визгом и смехом, чего, наверное, никогда не сделала бы госпожа Герберт, вся тихо-скромная, утонченная, сдержанная.

– Ты слишком много сделал заявлений и задал вопросов, Платон, – сказал Никитин. – Боюсь, они не прояснят сущность дела.

В наступившей тишине, особенно длительной от размеренного потрескивания камина, господин Вебер издал невнятный звук не то хмыканья, не то мычанья, потом хитро заиграли какой-то мыслью сонные его глазки в щелках припухлых век, и он произнес довольно-таки бодро:

– Господин Самсонов, я не отношу себя к интеллектуалам, я издатель, я, с вашей точки зрения, капиталист, но э... позвольте вопрос? Что должно чувствовать наше сердце перед братской могилой или могилой одного человека? Здесь недостаточно слов и сострадания, нет, нет?

– Я говорил про ответственность, – угрюмо возразил Самсонов. – Без ответственности перед прошлым настоящее – лживый рай.

– Э-э... слова ограничивают сами себя – наше сердце неграмотно. Для того чтобы слова обрели свой смысл, необходима ирония. Вы, господин Самсонов, слишком верите в прямые слова и чувства. Разве не возможно, что в этой братской могиле погребены и герой и очень слабый человек, который не вынес пыток гестапо, стал предателем и выдал настоящих героев? И вы страдаете и ему как герою. Нет, нет?

– Сострадаю предателю? Проливаю слезы? Никак нет! Наше отношение к людям и к интеллигенции должно разделяться по тому, кто был с кем – с палачами или против палачей.

– Э-э... вы меня не поняли, господин Самсонов, нет. Я о современном человеке.

– Я понял. И я о современном человеке. Вот вы, например. – И Самсонов с тяжелым упорством нацелился стеклами очков на господина Дицмана. – Вот вы... служили в гитлеровском вермахте, воевали?

Нога господина Дицмана, закинута на коленку другой ноги, задвигалась беспокойно, и задвигался узкий полуботинок под заторможенный ритм его голоса:

– Да, конечно, я служил. Не будучи исключением.

– Где, интересно?

– В Берлине. Я воевал в фольксштурме. В конце войны я был мальчик, господин Самсонов, когда ваши подошли к городу. Это был март, апрель. Тогда вы уже наступали в глубь Германии, а мы оборонялись.

– И сколько вы убили русских? – спросил Самсонов и засопел, скулы его стянулись, окаменели. – Одного? Двух? Сколько?

Среди тишины жарким треском постреливали, пылали поленья на решетке камина, и в молчании этом все разом посмотрели на Дицмана одинаковым взглядом опасливого и принужденного участия, и холодноватой струйкой прошел ветерок напряженности по смеженным векам господина Вебера, по взмахивающим ресницам Лоты Титтель, по прозрачно-бледному лицу госпожи Герберт – так показалось Никитину, едва он сопоставил этот добропорядочный уютный покой согретой камином, коврами и светом торшеров гамбургской гостиной и страшное кровавое прошлое, вставшее между ними четверть века назад.

– Я не знаю, кого я убил, я не видел, – неровным голосом задавленного волнения проговорил господин Дицман. – Фаустпатроном я подбил один танк. Он назывался у вас «тридцатьчетверка». Я стрелял из подвала по набережной Шпрее, когда ваши продвигались к рейхстагу. Танк загорелся, и больше я ничего не видел. Следующий ваш танк... как его... «И-Эс»... «Иосиф Сталин», да? Второй танк заметил нас и выстрелил по окнам подвала. Мы быстро ушли.

Господин Дицман потискал пачку сигарет, понюхал ее, отбросил на столик, упреждая вопрос Самсонова усмешкой:

– А сколько немцев убили вы, господин Самсонов?

Самсонов ответил неприязненно:

– Я служил переводчиком в штабе армии, поэтому не стрелял... Вы фаустпатроном сожгли, если вам верить, один танк, значит, убили четырех советских танкистов. Во имя чего? Вы вольно или невольно защищали нацизм? Так?

– Господин Самсонов! – вскричал Дицман и повалился в кресло, вскидывая нервные руки, точно пощады просил. – Я был мальчишка, зеленый глупец, с одураченным сознанием, я был только барабаном, на котором сколько угодно можно было выстукивать патриотические марши! И... если мы начнем упрекать друг друга, мы никогда не найдем общечеловеческую истину! Мы тоже потеряли более десяти процентов населения! Но я не думал спрашивать, сколько немцев убили вы, господин Самсонов, и сколько убил господин Никитин, а он не служил в штабе, как я знаю... а был офицером артиллерии и, значит, не ангелом во плоти и не гандистом! Не так, господин Никитин?

– Откуда вам так много известно про меня, не говоря уж о моем характере? – спросил Никитин с оттенком спокойного шутивого интереса. – По-моему, мы встречаемся впервые.

– Разве не мог я вас встретить в войну? – засмеялся Дицман, и высокий женственный лоб его покрылся испариной. – Ну, например, в Берлине? Возможно? Могло так быть?

– Это почти невозможно, – ответил Никитин полусерьезно. – Я не люблю беллетристику, а тем более фантастику. Я реалист, господин Дицман.

– И в реализме многое возможно, так много, что об этом не подозревают даже сами реалисты! В Берлине сошлись вплотную две многомиллионные армии, и там я мог вас... – Дицман, раздувая тонкие ноздри, взял бокал и как бы задавил неприятно незаконченную фразу глотками вина. – Но я, – продолжал он, салфеткой вытерев губы и пьяно растягивая слова, – но я, если бы знал, что передо мной русский интеллигент, например писатель Никитин, я не стрелял бы в него...

– Стреляли бы, – уверенно сказал Никитин. – И я бы стрелял, если бы вас встретил тогда. И это опять реализм. И ничего тут не поделаешь.

– Нет, вы бы не застрелили меня, именно вы... – очень тихо выговорил заплетающимся языком Дицман. – Вы были тогда мальчишка и не застрелили бы меня, тоже мальчишку... Я чувствую, я знаю. Или какую-нибудь немецкую девушку... Нет, вы не застрелили бы... Господин Самсонов решительнее вас: бац – и нет еще одного немца, ненавистного немца...

– Шумел камыш или тайны мадридского двора в стиле Кафки, – сказал по-русски Самсонов и вновь подтолкнул Никитина под стол: мол, что это за пьяные штучки, понимаешь ты что-нибудь?

И тут Никитин услышал запнувшийся, незнакомо умоляющий голос госпожи Герберт:

– Фридрих, перестаньте, пожалуйста, пить, я вас очень прошу. Если вы удерживаетесь от курения, то поберегите свое сердце и от вина. Прошу вас...

Госпожа Герберт сидела не подымая глаз; слабая, как ниточка, морщинка горечи разъединяла на переносице ее брови, ровные, темные по сравнению с ее белеющими сединой волосами, и это вынужденное замечание по поводу вина, это право упрека господину Дицману, названному ею по имени, Никитин почему-то воспринял позволенным на людях кратким раздражением, возникшим между друзьями, близкими или между мужем и женой и тотчас сглаженным внешним приличием воспитанной хозяйки дома, уставшей защищать гостей от нетрезвой навязчивости тесно приближенного к ней человека. «Кто он ей? Любовник? Родственник? – подумал Никитин. – Я не помню, чтобы она представляла его как мужа». И уже чувствуя, что надо как-то смягчить, ослабить вязкую неловкость между собой, Дицманом, госпожой Герберт и Самсоновым, он хотел пошутить по поводу иррациональной игры подсознания, однако его опередил Дицман.

Хлестко ударив ладонями по подлокотникам, он чересчур быстро, с рыву поднялся, застегивая пиджак, смеясь и сгоняя смех с землистого, худого лица, освещенного блестящими глазами, проговорил с ожесточенной веселостью:

– Да, несомненно, вы умница. Благодарю. Я бы не хотел, чтобы у меня повторился сердечный приступ. Эта штука нужна. – И постучал пальцем в левую часть груди. – До свидания, господа. Мы еще не раз увидимся! Я действительно слаб после болезни. Еду спать!

Он сделал общий поклон и, высокий, прямой, качаясь на долгих ногах, пошел по толстому ковру к двери.

– Фридрих! – вставая, проговорила госпожа Герберт. – В таком состоянии вам будет трудно вести машину! Извините, господа, один момент...

Она догнала его, и перед дверью Дицман, по-прежнему чересчур решительный, обернулся, вздернул плечо, сделал звонкий щелчок пальцами, словно поворотом включал зажигание, ответил ей смехом:

– Когда я выпью, я вожу машину, как гонщик, уверяю! Лучше, чем обычно.

Они вышли, дверь плотно замкнула безмолвие в гостиной, опять стало слышно похрустыванье, пощелкиванье поленьев в глубине камина, гости преувеличенно вежливо переглянулись, как бы чуть-чуть разочарованные неожиданным уходом хозяйки, прерванным разговором, – господин Вебер, весь утонув в кресле, дыша кругленьким, обтянутым жилетом брюшком, глубокомысленно почистил о жилет ноготь, своими полускрытыми в одутловатых веках глазками рассмотрел под светом торшера его полировку, затем со свистом, с бульканьем потянул через соломинку остаток коктейля из бокала, добродушно заговорил:

– Господин Дицман – великолепный главный редактор, талантливый эссеист, интеллектуальный человек...

– ...которого ты держишь в своем издательстве как безотказного негра. У него месяц назад был сердечный приступ! – добавила Лота Титтель, наступательно вскинув подбородок. – Не так ли?

– Лота, Лота, Лота... – ласково и миролюбиво возразил господин Вебер. – Ты опять делаешь заявление как социал-демократ, а не как актриса. Нет, нет? Сердечный приступ господин Дицман получил не из-за больших денег, которые я ему плачу, а от неводержанности, свойственной сейчас интеллектуалам, нет, нет?

– Вы не соскучились без меня, господа?

Вошла госпожа Герберт, приятной улыбкой гостеприимной хозяйки, даже спешащей походкой как бы извиняясь за свое отсутствие, но господин Вебер довольно проворно для своего грузного сложения встал, все так же по-домашнему благодушно сияя хорошими зубами, лысой головой, и за ним гибкой веточкой разогнулась и легко вскочила Лота Титтель, подхватывая сумочку с пола, зашуршав серебристой чешуей платья, и оба попеременно с благодарностями за прекрасный вечер начали прощаться с госпожой Герберт.

А она кивала, улыбаясь, однако не задерживала их, что часто бывает в русских домах, и они, отпустив ее руку, стали прощаться с Никитиным и Самсоновым, которые тоже встали следом за Лотой Титтель.

– И нам пора, госпожа Герберт, – сказал Никитин. – Спасибо вам...

– О нет, нет, нет! Одну минутку, господин Никитин! – вдруг перебила его она, смущенно глядя ему в глаза. – Я хотела бы вас задержать на несколько минут. Господина Самсонова, если он не возражает, подвезет до отеля господин Вебер, а я отвезу вас через полчаса. Я хотела бы поговорить с вами о предстоящей дискуссии. Это совсем немного отнимет у вас времени.

«Зачем она при всех отделяет меня от Самсонова? Что за этим стоит?» – подумал Никитин, чувствуя мерзкое неудобство колющего подозрения, какой-то внутренней стесненности, намеренный деликатно отказаться, сославшись на усталость, головную боль, перенасыщенность впечатлениями, однако проговорил тоном отвратительного самому себе согласия:

– Что ж. – И добавил излишне спокойно, обращаясь к Самсонову: – Я приеду и зайду к тебе. Не ложись спать. Подожди.

– Черт знает... Не приглашают ли тебя ночевать здесь? – вкось кинув сердитый взгляд на госпожу Герберт, ответил по-русски Самсонов, будто говорил о надоевшей погоде, и, багровея, заложил руки за спину, покачался назад и вперед на каблуках перед господином Вебером. – Значит, я могу надеяться на вашу любезность? Вы меня подвезете?

– Конечно, конечно! – тряхнула струями рыжих волос Лота Титтель, распространяя запах лавандовой свежести, и вторично по-мужски стиснула руку Никитина, сказала шепотом: – Нас, немцев, все же есть за что не любить, господин Никитин, стоит только вспомнить войну. О, это особая нация!

Они сидели на кожаном диване в библиотеке.

– Я прошу вас говорить медленнее. Иначе не все пойму.

– Господин Никитин, это было так давно, что мне становится страшно, когда я вижу этот альбом и вспоминаю, какие мы все были глупые и бесстрашные дети. Я хочу вам кое-что показать.

– Я не понимаю, что вы имеете в виду.

– Я имею в виду войну.

Она положила на колени альбом, обтянутый не то бархатом, не то темной замшей, и с некоторой неуверенностью расстегнула металлические замочки, робко полистала толстые листы. Эти перевертываемые листы обдавали Никитина горьковатой сладостью, тленом пожелтелой, тронутой временем бумаги – неизменный запах всех семейных альбомов. Она что-то искала среди фотографий и вроде бы сразу не могла найти, а он видел из-за ее руки мелькающие на старинном глянце незнакомые лица пожилых мужчин, строго застывших, с кайзеровскими усами, на пробор причесанных, облитых тесными мундирами, – подбородки жестко подпирали стоячие воротники, – мужчин, по-домашнему расположившихся бок о бок с белолицыми женами в белых платьях, в окружении белокурых кудрявых детей; затем на блеске

знойного песка возле танка возникла фигура молодого высокомерного офицера, на пилотку накинута маскировочная сетка, новенький Железный крест мерцал под кармашком черной танкистской куртки, и Никитин спросил:

– Кто этот офицер, госпожа Герберт?

– Мой отец, господин Никитин. Он погиб под Тобруком. В африканском корпусе.

– Значит, он служил у Роммеля? – сказал Никитин. – Тобрук – это сорок второй год. А ваша мать... надеюсь, жива, госпожа Герберт? – спросил он из деликатности, в то же время не понимая, зачем она листала в его присутствии этот семейный альбом, который имел отношение к ее родственному клану или, отчего-то казалось ему, к неприятно нервному, неприятно взбудораженному вином господину Дицману, после мутных его объяснений, связанных с войной, после того, как бросил он пропитанное ядом зернышко намека на некую реальную или возможную встречу когда-то, вызвав в душе отталкивающее подозрение.

И Никитин, нахмуриваясь от сознания непредвиденно глупого положения: все разъехались, уехал в отель и недовольный его необдуманном согласием Самсонов, а он, не имея каких-либо веских оснований возразить на приглашение задержаться, остался здесь и теперь принужден был проявлять вежливый интерес к родным госпожи Герберт, к чужим фотографиям в чужом альбоме, – думал о своей опасной податливости, уже раздражавшей его сейчас.

– Моя мать умерла в тридцать шестом году, господин Никитин, – проговорила госпожа Герберт. – Но не отца и мать я хотела показать вам в альбоме... Вы не устали, господин Никитин? Я напрасно вас оставила?

– Нет, нет, – ответил он, проклиная эту ненужную свою деликатность, и, злясь на себя, поморщился, потер лоб, неловко сказал ей: – Простите, голова... это пройдет...

– Вам принести таблетку от головной боли?

– Спасибо. Это пройдет.

Она виновато посмотрела мягко светящимися глазами, обе ее руки лежали на альбоме, и тоже, чудилось, в робком замешательстве она молчала, медальон на выемке груди колыхнулся, поднятый и опущенный дыханием, и Никитин, вдруг остерегаясь ее готовности к чему-то, подумал, что она, видимо, не без колебаний, намерена сказать ему нечто новое, серьезное, важное, чего он может не знать, не ожидать, не предполагать даже. И он проговорил неестественно, чрезмерно спокойно:

– Я вас слушаю, госпожа Герберт. Вы что-то хотите мне сообщить, кажется...

– Да, я хочу, господин Никитин.

Она взяла сигарету со столика; он предупредительно зажег спичку, она поблагодарила его несмело улыбающимся взглядом, потом все так же робко пододвинула альбом на коленях, спросила негромко:

– Господин Никитин, вам знаком этот дом в Кёнигсдорфе? Вы его немного помните?

И тотчас из глаз ее ушла улыбка, в них замерло влажным блеском, заискрилось осторожное внимание – она глядела на небольшой снимок, размером отличимый от других фотографий, вложенный в твердый пожелтевший лист альбома, где педантичной готической школьной надписью было выведено внизу:

«Кёнигсдорф. Вильгельмштрассе, 7, наш дом».

Этот снимок был сделан до войны, время наложило на него тусклую серость, но изображение еще оставалось крепким, четким, и хорошо виден был двухэтажный дом, похожий на все добротные немецкие дома немецких городков, мансарда краснела черепицей в горячих лучах солнца, вблизи – сосны, утренне высвеченные на одной стороне стволов, лужайка перед домом, сочно-зеленая, подстриженная, посреди которой лежал велосипед, возле присела на корточки загорелая девочка-подросток, на ней спортивный костюм, под шапочку убраны короткие желтые волосы. Девочка присела над никелированным рулем, а он металлическими рогами торчал из травы, по-летнему густой, счастливой...

– Вам знаком этот дом, господин Никитин?

Два пальца госпожи Герберт, зажимавшие сигарету, лиловели лаком ногтей, как бы случайно прикрывали лицо этой девочки, показывая Никитину дом, – он, охваченный туманным и жарким беспокойством, словно усилием расталкивая наслоения памяти, внезапно ощутил когда-то сладостное дуновение смолисто-терпкого, прогретого воздуха, облитую полуденным весенним солнцем стену дома, открытое окно, за которым была полутьма прохлады, звук патефона доносился из глубины дома, и в такой же сочной зеленой траве валялся посреди лужайки сверкающий велосипед с изуродованными прикладом спицами.

Да, когда-то был добротный и удобный немецкий дом в Кёнигсдорфе, в дачном городке под Берлином, подобный этому дому, окруженный соснами по краю лужайки, только орудия батареи были вкопаны метрах в ста пятидесяти за яблоневым садом с направлением стрельбы на шоссе по берегу озера, и «студебекеры» стояли незамаскированные под пятнистой тенью сосен. Да, в таком же доме размещался взвод Никитина, заняв четыре или пять комнат, и был во взводе английской марки («хиз мастерз войс») патефон и набор пластинок, взятых еще в Польше, на какой-то разрушенной вилле в лесу близ Варшавы, и чудом сохраненных и доведенных до Германии.

Но было тогда что-то ужасное, преступное и радостное, связанное со звуками патефона из открытого окна, с запахом травы и махорки, солнечным майским утром и этими освещенными по одной стороне соснами, увиденными неожиданно им, нечто счастливое и нечеловечески жестокое, связанное с его судьбой, которая едва не сломалась, не повернула его жизнь в темноту, отделенную от всех злобой, любовью и жалостью.

Никитин помнил то ощущение конца войны и начала жизни, и ту свою неистовую одержимость жизнью, ликование молодости, и ту страшную серую стену, плотно замкнувшую его в те солнечные, тихие, зеленые дни за окнами добротного дома под соснами...

– Кто эта девочка? – глухо спросил Никитин и от удушья, от сердцебиения слегка выпрямился, чтобы вобрать в грудь больше воздуха; ему сейчас так нестерпимо захотелось увидеть лицо этой девочки, как если бы лицо ее могло ему многое объяснить, вернуть, напомнить навсегда ушедшее, прекрасное и страшное, расплывшееся, будто во сне.

– Девочка? – Пальцы ее, закрывавшие часть фотографии, заскользили, трепетно побежали по твердому листу альбома, и она вполголоса сказала: – Это я, господин Никитин.

– Вы? Это вы?

– На фотографии мне одиннадцать лет. В том году была одержана победа в Чехословакии, и мне купили велосипед. Отец очень любил и баловал меня после смерти матери...

– Ваш отец был уже в армии?

– Да... Посмотрите, господин Никитин, какой гадкий кенгуренок сидит в траве – руки длинные, плечи острые, весь из углов, фи, можно обрезать!.. Подросток – неудачная пора девочки с манерами мальчика...

Нет, то было другое, он не помнил ни длинных рук, ни острых плеч, ни задиристого мальчишеского лица этой неуклюжей девочки-подростка, которой он никогда не видел. То, непостижимо связанное с обогретой солнцем лужайкой, соснами и велосипедом в траве, было такое пронзительное, такое мгновенно прошедшее, как давнее короткое потрясение, как горькая радость от чего-то свершившегося тогда, очень важного, главного, но упрятого временем в памяти. И Никитин испугался мучительной жадности медленного узнавания, когда разглядывал дом, лужайку, сосны на фотографии, и вместе с тем он еще попытался зачем-то уверить себя, что это не совсем тот дом, не совсем та лужайка, не совсем те сосны, возвращенные изменчивой игрой ощущений, но уже знал, что, внушая самому себе сомнения, он не мог ошибиться, не мог обмануть свою память, отказаться от нее.

– Вы не помните этот дом, господин Никитин?

– В Германии мы не раз останавливались в таких домах, – сказал Никитин. – К сожалению, нет. Не помню.

Он так спокойно ответил ей, так решительно солгал, что опять почувствовал вцепившееся в горло удушье, недостаток воздуха и от сердцебиения и от ее долгого ошеломленного молчания, а оно, это молчание, физически давило на его плечи, на его грудь, на кожу лица, точно был миг совершенного им предательства, принятого ею, наверно, за ответ вялого равнодушия к тому, что он не держал в сознании или не хотел вспоминать: он имел право все забыть. И она сказала без особого выражения, однако голос ее в конце фразы подрезался до шепота:

– Да, да, господин Никитин, прошло столько лет. А в этом доме прошла моя юность...

Она судорожно затянулась сигаретой, сдула пепел с альбома и стала гасить сигарету, старательно приминая ее к доньшку пепельницы, потупив глаза. А он с вежливым показным вниманием смотрел на фотографию в альбоме, ужасаясь и не веря тому, что подсказывала память, сравнивая вставшее словно из светлого тумана майского утра некрасивое, враждебное и прекрасное, как у мальчишки, лицо девочки, усеянное веснушками юной чистоты вокруг чуточку вздернутого носа, с этой взрослой утонченностью подведенных бровей фрау Герберт, ее маленьким ухом, видным из-за поднятых, стянутых сзади в пучок, побеленных аккуратной сединой волос, золотым медальончиком на ее груди, бледностью ее висков, на которых нежно проступали жилки... И в лихорадочном сопоставлении не находил ничего общего между той, выдуманной воображением или забытой Эммой, и этой фрау Герберт; казалось, бессмысленно сравнивал детский сон и близкую реальность.

«Сколько же мы стояли тогда в Кёнигсдорфе? – думал Никитин, потрясенно отыскивая в глубинах прошлого ускользающую прочность того весеннего, далекого, почти недействительного. – Мы стояли там недолго, несколько дней, около недели. Так неужели фрау Герберт та самая Эмма? Неужели? Ей тогда было лет восемнадцать. И все, что произошло между мной, сержантом Межениным и командиром батареи Гранатуровым, было из-за нее? Не может быть! Как она меня узнала, если мы оба так изменились? В зеркало бы, в зеркало бы на себя посмотреть сейчас – седые виски, морщины под глазами!.. Как она могла узнать меня? Каким образом она узнала?»

– Господин Никитин... вы меня забыли, прошло столько лет... А я помню, как вы ночью и утром писали на бумаге: «До свиданья, Эмма». До сви-дань-я-а...

Этот голос фрау Герберт, сниженный, протянувший по слогам последнее слово, душно ожег его знойной волной, как в то невозможно давнее горячее военное утро под накаленной солнцем крышей мансарды, – ведь тогда перед распахнутым окном он сидел с нею за столом и по буквам выводил русские слова на теплом белом листе бумаги, внизу возле дома уже не было машин, и лишь на лужайке ждал его «студебеккер» четвертого орудия, ждал, работая мотором, оттуда доносились голоса солдат, которые весело кричали им вразнобой: «Эмма, ауф видерзеен! Товарищ лейтенант, ехать пора!»

А потом он целовал ее с какой-то жестокой прощальной нежностью, тормошил, стискивал ее в объятиях, еле не плача, зная, что они больше не увидятся, и она, подняв мокрое, безобразно искаженное сдерживаемыми рыданиями веснушчатое лицо, не отпуская его, все повторяла, заикаясь, выученную русскую фразу: «Ва-ди-им, мил-ий, не-е з-забыв-ай меня-я».

Он оторвался от нее, скатился, сбежал по лестнице, и, когда вошел в машину, она еще стояла в окне, но он не помахал ей, не повернулся к окну, не взглянул, скомандовал сжатым голосом: «Поехали! Марш!»

– Госпожа Герберт... – сказал Никитин и, наклоняясь, не глядя ей в глаза, поцеловал ее ледяную, дрожащую руку. – Мне трудно поверить, Эмма.

Часть вторая

Безумие

Глава первая

Что же было тогда?..

Четыре долгих года набирая сумасшедшую скорость, поезд войны ворвался в Германию, как бы вонзаясь раскаленными колесами в каменный тупик огромного поверженного Берлина, торчащего из горячей земли мрачными скалами обрызганных бомбежками домов с чернеющими глазницами окон, наглухо закрытыми подъездами, где мертво остановились лифты, где на площадках лестниц не пахло из затихших квартир немецкими супами и не слышно было ни шагов, ни стука дверей, ни обыденно приветливых голосов раскланивающихся в подъезде соседей, ни этих вежливых «данке шён», «битте зер»⁵ – везде стыла сумеречная тишина пустыни, без единого во всем городе выстрела. Последняя оборона Берлина – рейхсканцелярия и рейхстаг пали. Все было кончено. Несколько дней неистово бушевавшие в городе пожары понемногу стихли, всюду нехотя рассеивались угарные дымы, и, словно из кровавого аспидного месива, постепенно выявлялись площади и улицы, загроможденные угольными телами обгорелых танков, развороченными баррикадами, поваленными на исколотый снарядами брусчатник трамваями, и проступали тенями согнутые фонарные столбы, завалы обугленных кирпичей, еще теплых, еще курившихся. И на опустелых мостовых, перед баррикадами и за баррикадами, на перекрестках и углах центральных улиц, зияющих проломами витрин, под полусорванными пулеметными очередями вывесками магазинов и парикмахерских, возле которых сверкали груды расколотого зеркального стекла, вблизи сожженных машин, бронетранспортеров, исковерканных орудий – везде валялись расплюснутые гусеницами цилиндры немецких противогазов, смятые каски с темными знаками орлов, зловеще раздавленные велосипеды, переломанные детские коляски, клочки камуфляжных плащ-палаток, серые русские ватники, обрывки грязных бинтов, распростертые плоскими змейками, автомобильные скаты, разбросанные взрывной волной; и кое-где среди обвалившейся на тротуар, остро срезанной чем-то стены можно было видеть в обломках мебели затянутое кирпичной пылью пианино, его помертвецки разъятое, беспомощно ощеренное струнное нутро, а над хаосом разрушения – на верхнем этаже оставалась часть квартиры, часть стены, темнели прямоугольники на обоях от недавно висевших там фотографий, и люстра, чудом уцелевшая, стеклянным пауком покачивалась на паутине провода меж пробоев потолка.

Весь этот огромный зловещий город, сплошь каменный, в течение нескольких дней содрогаясь смертельными судорогами, оскаливался огнем и будто извивался в дыму, озлобленно вскидывал толстые багровые щупальца танковых выстрелов, тонкие плети пулеметных очередей, хлещущих по пролетам улиц, выбрасывал реактивные молнии фаустпатронов из угрюмых квадратных глазниц подвалов – он выл, кипел, конвульсивно корежился, гремел, захлестнутый пожарами, еще втягивая в себя, пожирая, как гигантский молох, последние жертвы, он погибал, но еще выказывал свою неутоленную жадность к человеческой крови подтверждающими знаками на останках собственной плоти – на стенах домов, на мостовых, на заборах: «Berlin bleibt deutsch», «Schlag neun Russen tot», что означало: «Берлин остается немецким», «Убей девять русских».

⁵ «Большое спасибо», «пожалуйста».

Лишь 2 мая сникли пожары, но в воздухе висел горячий пар, налитанный удушающими запахами пепла, бетонной пыли, тяжелой горькостью жженных кирпичей с примешанным пригорно-сладковатым душком где-то погребенных под развалинами трупов. Вверху обозначенных после буйства огня каменных коридоров, над закопченными улицами свисали зацепившиеся за балконы обрывки простыней, белых тряпок, слабый ветерок шевелил их и шевелил в черных провалах золу холодеющих пепелищ, бумажный мусор на засыпанных стеклом мостовых, покачивал оборванные электролинии, вытянутые к тротуарам с крыш, закрученные кольцами вокруг разбитых фонарей.

Но так по-весеннему солнечен, мягок был тот майский день, так сияли, круглились в высоком голубом небе облака, такая шла по нему неправдоподобная тишина, такое распротранялось по городу чудовищное безмолвие, что до боли наполнялся, плыл звон в ушах, и казалось, не было нигде в этом поверженном городе ни одного вооруженного солдата, ни обывателя.

Однако это было не так: Берлин, занятый солдатами, танками, орудиями, машинами, повозками, командными пунктами, хозяйственными частями, саперами, связистами, спустя три часа после завершающего выстрела возле забаррикадированных Бранденбургских ворот, в каком-то неожиданном торможении погрузился, как в воду, скошенный ничем необоримым и оцепеняющим сном.

Это было почти повальное наваждение сна, не подчиненное уже сознанию, которое в неистовстве многожданного облегчения кричало, верило, ликовало, что кончилось последнее сопротивление в Берлине, последняя крепость – рейхстаг пал, и солдаты, бравшие Берлин, будто бы остановились на бегу с разжатым пределом исхода, пьяные возбуждением, свершившимся наконец счастьем, ошеломленные тишиной. Все, пошатываясь, расстегивали пропотевшие воротники гимнастерок, трясущимися от усталости пальцами сворачивали сигарки и тут же со слипающимися глазами, иные, даже не докурив на солнышке, валились под колоннами у нагретых ступеней рейхстага, на песчаные дорожки, на каменные плиты молчаливых кирх, на ковры богатых особняков, на постели брошенных квартир, валились, не раздеваясь и не откинув толстых стеганых бюргерских одеял, спали в танках и на снаряжных ящиках, сидя на станинах орудий, стоя у котлов кухонь в неловких позах, лежа грудью на столах, на подоконниках, – пружина, сжатая четырьмя годами войны, наконец освобожденно разжалась, и ее крайней точкой окончательного разжатия были не еда, не глоток воды, а сон.

Сон этот, посреди еще местами дымившегося Берлина, продолжался несколько часов, и хотя бесперебойно работала только связь командных пунктов, непрерывно передавая в соседние армии, в Москву весть о прекращении огня в центре «логова», о падении рейхсканцелярии и рейхстага, о самоубийстве Гитлера, никто из через силу бодрствовавших строевых или штабных офицеров не нашел бы в себе человеческой воли поднять сваленных усталостью солдат, отдать приказ прежним командным голосом, никто сейчас не имел на это права.

Облитый теплым майским солнцем с бездонно сияющего неба, затихший Берлин глубоко спал, и, как в затянувшиеся ночные часы, повсюду наглухо закрыты были подъезды, опущены металлические жалюзи баров и уцелевших витрин, но в сумрачно затаенных квартирах чужие испуганные глаза жадно и быстро принимали к щелям ставней, должно быть, веря и не веря в то, что видели на улицах своего старого немецкого города. Ничто уже не напоминало былого масляного блеска и утренней чистоты вымытых мостовых, нигде не было видно на всей скорости скользящих по этому блеску длинных машин генерального штаба, педантично выбритых патрулей, офицеров в плащах с пелеринами; нигде уже не было обычных ежедневных прохожих, приподымающих шляпы при встречах, покупающих в киосках свежие газеты, и молоденький, хорошо причесанный, веселый кельнер в белоснежном переднике уже не нес на подносе кружку холодного янтарного пива, не перебегал деловито улицу от ближнего бара к парикмахерской, где брился какой-нибудь любитель разнеженно отдохнуть в кресле после душистой

мыльной пены на щеках, мягкой бритвы, пахучего одеколона, после горячего компресса, приятно распарившего кожу лица.

Прежнего добропорядочного, строгорежимного и размеренного Берлина не существовало.

Батарея, в которой Никитин командовал взводом, наступала вместе с пехотой восточнее Тиргартена по направлению к бункерам рейхсканцелярии, метр за метром продвигалась по широкой аллее, мимо какого-то глухого забора, – с той стороны сквозь отдаленное гудение танков жарко и часто рассыпалась автоматная пальба, простроченная грубыми очередями пулеметов. И раза два почудилось – донесся оттуда дикий утробный рев (так не мог кричать человек), и вездесущий подносчик снарядов Ушатиков, белобровый, длинношей парень, по причине наивности не перестававший всему удивляться, подбежал к Никитину и, испуганно вытаращив голубиные глаза, сообщил, что в проломе забора вроде видны под деревьями клетки со зверями, и, кажись, слон на горке с поднятым хоботом ходит, а также наши, похоже, без выстрелов по дорожкам продвигаются, но по ним фаустники и автоматчики спереди лупят, и «тридцатьчетверка» перед мостиком горит.

Никитин по разговорам знал, что левее их дивизии введены в бой танки генерала Каткова, и в тот момент, когда Ушатиков сообщил о появлении «тридцатьчетверок» в зоопарке, почувствовал вдруг свои орудия вблизи бункеров и подумал только: «Рядом».

Двое суток через проломы в домах, по навалам кирпича и щебня в бывших квартирах, через обваленные балки перекрытий батарея на руках подтягивала орудия до района Цоо. Северо-западные подходы к зоопарку простреливались днем и ночью мощными точками обороны на углах забаррикадированных улиц – проскочить на машинах было невозможно. А когда наконец выкатили первые орудия на влажную прошлогоднюю листву огромного парка, еще сырого, сквозистого, пахнущего осенней прелью, но уже молодое и нежно зеленеющее листочками, когда открыли огонь по ближним самоходкам, стоявшим полудугой за кустами, всю батарею охватило неудержимое, сумасшедшее неистовство.

Самоходки, медленно пятясь, отходили в чащу по каким-то знакомым им дорогам, вновь выползали на перекрестки аллей, пехота впереди залегала и подымалась, рассчитывалась меж деревьев, автоматные очереди, беглые раскаты орудий срывали с сотрясаемых ветвей молодую листву, и дым выстрелов самоходов и выстрелов батарей, поспешно мелькающие в нем кометы разрывов сплошь скрыли черно-лиловой наволочью небо над парком, и потерялся отсчет времени – утро было, день или сумерки, – и появлялась отчаянная мысль, что потонувший в непробиваемой мгле этот парк расположен не в центре Берлина, а отъединен от всего мира, что впереди нет нашей пехоты, нет никакого продвижения, нет ничего, кроме огня, грохота, лязга и дыма... Изредка уловимое гудение танков за бетонной оградой, дикий животный рев оттуда, и оскалы пламени в тьме аллей, и жирно дымившие на перекрестках троп самоходки, и упругое дрожание земли, вздохи, сопение, завывание тяжелых снарядов на разных воздушных этажах зачерненного поднебесья, и бесконечные молотообразные удары разрывов в близком городе, недалекие строчки очередей – все это смешалось, задержалось, не изменяясь, на одном месте, там, где должна была быть не достигаемая орудиями оборона немцев и где ее не было.

Но вечером около орудий возникли неожиданно люди, двое мальчишек-связистов из пехоты. Они с треском катушек, с живой переключкой, будто и немцев нигде не было, протягивали в потемках неизвестно куда линию; пробегая мимо расчетов, закричали что-то озорное, грубое, подначивающее артиллеристов, разглядев не лица, а черные, в пороховой саже маски вместо лиц, и, несдержанно хохоча, сообщили, как выстрелили: «Наши в бункерах, во дворе одни мертвые фрицы! Хана там им полная! Оттуда на капэ связь тянем! А Гитлера, усатого черта, не нашли там!»

И молниеносно пропали в темноте, прокладывая тонкий провод по ветвям деревьев, а Никитин, до тошнотного предела изнеможенный нескончаемым боем, вчерашним выкатыванием орудий через проломы в домах, увидев связистов, как-то сразу потерял азартно подгоняющее желание посмотреть ненавистную и долгожданную полосу сопротивления немцев, уже захваченную пехотинцами.

– Спать, – еле ворочая языком, безголосо выговорил он. – Кто хочет, принести воды, умыться и спать. До приказа.

Он так и не увидел эти бункера рейхсканцелярии. На рассвете, по холодку, его разбудили шум мотора, голоса – и он тревожно вскинулся на разостланных под орудием ветвях, отбросил шинель с головы. Рядом стоял часовой, наводчик третьего орудия Таткин, продрогший на ветерке парковой сырости, и зябко улыбался двойными заячьими губами в пшеничные усы, отпущенные, вероятно, для того, чтобы скрывать этот дефект.

– Что? – крикнул Никитин.

– Командир батареи прибыл, – ответил Таткин, покашливая и согреваясь нелепым приплясыванием. – Гранатуров-то наш... Да еще кухню приволок на автомобиле.

Вокруг было необычно тихо и светло. Нигде не раздавалось ни одного выстрела. Взвод спал между станинами на брезенте, прикрывшись шинелями. А посередине аллеи, неподалеку за орудиями поблескивал новенький трофейный «оппель» с прицепленной кухней, уютный дымок струился под деревьями, и старшина батареи, быкообразный, неповоротливый, напряженная багровую шею, отвинчивал при помощи повара крышку котла, видимо, очень горячую – оба то и дело отдергивали руки, мотали пальцами. И, похрустывая влажными листьями на газоне, от «опеля» крупными шагами шел командир батареи, старший лейтенант Гранатуров, поправляя мощными плечами накиннутую длиннополую шинель, а из-под полы высовывалась перебинтованная кисть на марлевой перевязи. Матовое его лицо, заметное щегольскими косыми бачками и крючковатым носом с крутым вырезом ноздрей, всегда как бы готовое разозлиться, было сейчас оживлено. Он крикнул грубовато-весело:

– Никитин, жив? Штаб обороны Берлина взяли, а вы как на перинах дрыхнете, сундуки-лошади! Ну и батарея у меня! Подье-ом! Всем жрать! Старшина, раздай трофейный шнапс для бодрости духа да так накорми, чтоб животы трещали! Ясно? Небось думал, Никитин, руку мне царапнуло, так я в госпиталь лягу? Ни хрена подобного! Перевязку сделали, укольчик в задницу всадили от столбняка на всякий случай, а потом в один дом на ночь спикировал и вот, как видишь, на «оппеле» прикатил с кухонным прицепом, ха-ха! А по дороге в зоопарк и на капэ полка закатил! У тебя, сразу вижу, связи с ним нет! Дьяволы-лошади, без меня-то вздохнули, видать! Где Княжко?

Гранатуров два дня назад был ранен на прямой наводке при обстреле занятой немцами станции метро на берегу Шпрее, оттуда был отправлен в медсанбат, и лейтенант Княжко, командир первого взвода, остался за него. Никитин, окончательно разбуженный рокочущим голосом комбата, хотел было доложить о продвижении взвода через проломы в домах к Тиргартену, о вчерашнем бое с самоходками, о том, что лейтенант Княжко, командуя своими двумя орудиями, находится справа на соседней аллее. Но Гранатуров слушать не стал. Он отсек его доклад взмахом здоровой руки и, глядя на зашевелившихся между станинами солдат, не отвел, а толкнул Никитина в сторону от орудий, сказал вполголоса, что – без бинокля видно – Берлину крышка, и, по слухам в штабе, дивизию, надо полагать, будут выводить куда-то из города, поэтому на всякий случай приготовиться к маршу. И, сказав это, зашагал к солдатам, а они, донельзя вымотанные вчерашним боем, не отдохнувшие, спросонок крикая, сплевывая, покашливаясь, закуривали щедро раздаваемые старшиной немецкие сигаретки, глазели на трофейный «оппель», на прицепленную к нему кухню, и уже кое-кто, взбадриваясь, начал позванивать котелками.

– Ну что, что, ребята, возитесь, как жуки навозные? – крикнул Гранатуров. – Небось по самоходкам стрелять – это вам не среди львов атаковать! Не ясно? – Он превесело выругался. – По дороге мы тут со старшиной в зоопарк завернули! Львы, стервецы, досейчас по дорожкам расхаживают, волки вокруг слона стаей бегают, а бегемот в бассейне лежит с миной в животе. Вот где хлебнули славяне! Самоходки – не в счет ерундовина! Так или нет?

Слова Гранатурова о выводе дивизии подтвердились. В полдень второго мая был получен приказ – артполку сняться и двигаться по шоссе Берлин – Кёнигсдорф. Никто в батарее не знал причины спешной перегруппировки, и, поговаривая об отдыхе, ехали по улицам Берлина в странной опустившейся на землю тишине, такой пронзительно-огромной, такой невероятной посреди голубого неба, обглоданных домов, дыма и развалин, что, казалось, оглохли все.

«Их вайс ниht, вас золь эс бедойтен, дас их зо трауриг бин... Ди люфт ист кюль, унд эс дункельт...»⁶ Черт, а как же дальше? Забыл. Кто это написал – Гете или Гейне? Лорелея, какая-то сказка о Лорелее!.. Кажется, с распущенными волосами сидела на скале, на берегу Рейна, а вокруг была потрясающая тишина, и струились волны. А она зачем-то пела, и, по-моему, что-то грустное. Да, да, что-то такое грустное. Так кто же написал, в конце концов, – Гете или Гейне? Все забыл, вот молодец! В каком это учили классе? В восьмом или в девятом? Ах, какой умница, какой молодец, какой знаток немецкого языка! «Хенде хох», «ниht шиссен», «шнеллер»⁷. Ну, это я знаю, и весь мат немецкий знаю! Прекрасно, герр лейтенант! Итак, как же спросить, положим: вы читали сказку о Лорелее? Или, например, сколько стоит кружка пива?»

Никитин, нежась в постели под пуховой периной, листал разговорник, дурашливо разговаривал сам с собой и наслаждался прохладой, утренним покоем, розовеющими бликами на потолке немецкой уютненькой мансарды, где он спал один, отдаваясь часами благодатному после сна ничегонеделанию. Целые сутки ему не нужно было беспокоиться о чем-то, отдавать необходимые распоряжения, лично проверять посты ночью, что нужно было обязательно делать на передовой, ожидать требовательного телефонного звонка, внезапного приказа, вызова к командиру батареи перед наступлением или перед маршем. Целые сутки стояли в маленьком городе Кёнигсдорфе, километрах в пятидесяти от Берлина, отведенные на отдых, в сторону от главных событий, где-то еще происходивших, и дачный чистенький городок этот, красно и весело сиявший черепичными кровлями, острием каменной кирпичи, весь солнечный, провинциальный, весь в белой пелене зацветающих яблоневых садов и ранней, густой, снежно-белой сирени, нависавшей из-за оград над тротуарами, был совсем не тронут войной, не задет ни одним снарядом, ни одним выстрелом. Война прошла мимо него чуть слышимой в отдалении канонадой, дребезжанием стекол, низким ревом советских штурмовиков, лишь дважды прошедших над крышами во время боев в Берлине, как узнал потом Никитин. Но все же, когда артполк вечером входил в городок, угрожающе нарушая сон его соединенным гулом «студебеккеров», улочки были безлюдны, ни единого огонька не зажигалось в зашторенных окнах, и пятнами светлели на балконах траурно спущенные простыни.

Старший лейтенант Гранатуров отдал приказ занять огневые по юго-западной окраине, и Никитин разместил свой взвод в совершенно пустом доме; орудия были вкопаны на открытой позиции, в ста пятидесяти метрах за оградой яблоневого сада, за которым, как огромная вытянутая чаша, обводило окраину городка большое озеро, и был виден за озером темнеющий лес, полоска шоссе из леса, прорезанная меж весенних лугов (направление стрельбы), – там, в лесу, по сведениям Гранатурова, еще шастали ночами «втихаря» фанатичные «вервольфы», остатки разбитых на подступах к Берлину фашистских частей.

⁶ «Я не знаю, что это значит, почему я так печален... Воздух прохладен, смеркается...»

⁷ «Руки вверх», «не стрелять», «быстрее».

Но чувство привычной опасности на передовой, заставляющее спать с оружием на расстоянии протянутой руки, вскакивать при малейшем шорохе даже в состоянии мертвящего затишья, – это металлически острое чувство опасности исчезло по первому утру, смытое реденьким парным майским дождиком, текущей по яблоневым садам деревенской тишиной, солнечным, как радость, теплом на буйно-зеленой и сочной после дождичка траве, – и вскоре мирно запахло в городке нагретым камнем, тонко-сладким ароматом сирени.

Целые сутки, каких, пожалуй, за всю войну не было, солдаты отмывались, очищались, отстирывались, отглаживались, отъедались, разместившись в невообразимой домашней благоустроенности, под добротными немецкими крышами, где поражали аккуратностью чистые кухни, уставленные по полочкам разнокалиберными кастрюльками и баночками, где вконец удивляли отделанные разноцветным кафелем ванны с туалетом, роскошными зеркалами и пушистыми ковриками на полу, где в спальнях были невиданно широкие постели, толстые перины, мягкие подушки – все представлялось фантастическим, начавшимся вчера праздником, и не верилось, что в нескольких десятках километров отсюда могли быть угрюмые развалины Берлина, пьяный угар горелого камня.

Из штаба полка, из дивизиона не поступало никаких приказов, и, кроме утренней и вечерней поверки, назначений в караул, батарея ничем военным не занималась, жизнь пошла вольно: спокойный завтрак, осмотр орудий, обед, длительный ужин, запиваемый бутылочным «биром», отбой, разговоры о перепуганных фрау вместе с бесконечным курением пресноватых немецких сигарет, смехом, солеными шуточками, подначиванием разговеться немочками, которые кое-кому улыбаться из окон начали, шумная игра до полуночи в карты на трофейные зажигалки, кортики и пистолеты – и детски безмятежный сон до утра. Война, Берлин, сопротивление эсэсовских частей в Австрийских Альпах, наступление нашей армии в Чехословакии – этот фронтовой мир вроде бы незаметно отдалился, отошел на тысячи километров, канул в туманную и далекую нереальность, и осталась только действительность – одурманивающая тишина, запахи весенней свежести, солнцесный воздух, наполненный прозрачной синевой, радостная беззаботность отдыха.

В городке еще были закрыты магазины, парикмахерские, пивные бары, но уже изредка на улицах стали появляться пожилые немцы в черных костюмах, вязаных жилетках; сторожко поглядывали они на орудия, на машины, на повозки; заведя же встречных солдат и офицеров, почтительно приподымали над головами фетровые шляпы, издали приготавливали заискивающие улыбки, бормотали с покорностью: «Гутен таг, герр зольдат!», «Гутен таг, герр офицер!»

Никитин, как и все, пребывал в состоянии раскованной и ленивой беспечности, как и все, почти не думал, что ушедшая куда-то к близкому концу война может нарушить этот судьбой ниспосланный батарее покой, поэтому решил от нечего делать изучать немецкий язык по военному разговорнику, выданному офицерам на границе Германии.

И этим ранним утром он с благодатным удовольствием валялся на постели, разговаривал вслух, перелистывал разговорник и после крепкого сна, без тревог, без вызовов, овеванный этим счастливым покоем, особенно чувствовал свое отдохнувшее тело, свое физическое здоровье, чистое белье.

– «Их вайе нихт, вас золь эс бедойтен, дас их зо трауриг бин...» Так... переводим: «Я не знаю, что это означает, почему я такой грустный». Вот это я помню, – говорил вслух Никитин, потягиваясь под пуховой периной и оглядывая веселенькую, залитую розоватым солнцем комнатку, оклеенную выцветшими обоями, разрисованными цветочками и листочками, поглядывая на фотографии усатых стариков при котелках и солидных старух в древних кружевных шляпах, на старинный потрескавшийся комод, платяной шкаф, круглое зеркальце в рамке слева от двери, на столик с чернильным прибором и свечой, прикрытой колпачком, на весь этот кем-то по неизвестной причине оставленный уют. – В самом деле, – сказал Никитин, – мне грустно потому, что я не знаю, кто тут жил. Как это будет по-немецки? Кто – вер. Жизнь –

лебен. Ну а теперь, герр лейтенант, попробуем сложить фразу, однако он не сложил, на первом этаже хлопнула, ударила по тишине дверь, кто-то там вошел со двора, затем внизу рявкнула луженая глотка: «Подъем! Прекращай дрыхнуть, славяне!» – и сейчас же послышались заспанные голоса, побряхтывание, смех сквозь протяжную зевоту, и чей-то тенорок спохватился, воскликнул:

– Ах, братцы, какую я бабенку во сне видел... Стоит она у забора и эдак с прищуром кивает, кивает мне...

– А ты что? Чесался, дурья голова, или действовал? Дальше что было?

– Рас-стройство!.. Всегда во сне как следует не получается, известно – видение одно! – пояснил зубоскалящий тенорок. – Эх, ребя, гладкую бы какую-нибудь на эту перинку, под бочок, неделю бы не жрал, а только бы... Ты откуда прибеж, сержант? Чего загремел? Гулял ночь, никак, а людей чуть свет вздымаешь!

И переливистый командный голос сержанта Меженина:

– А ну, бриться, умываться, туалет навести, котелки в зубы – и за завтраком! Медведя давите много! Опухли ото сна! Все! Подымайсь! Лейтенанта разбудили?

– Да пусть себе спит, чего ему...

Потом Никитин услышал скрип тяжелых шагов по лестнице, отбросил разговорник, потянул с кресла обмундирование и, быстро надев галифе, отозвался:

– Я встал, Меженин! Входите! Что за спешное дело? Надеюсь, не танковая атака? Нун, битте, херайн!⁸ – добавил он по-немецки. – Бит-те!

– Разрешите, товарищ лейтенант?

Вошел командир третьего орудия сержант Меженин, сильный, широкий костью, немного полноватый, в набело выстиранной гимнастерке, хромовые офицерские сапоги и погоны были влажны, как будто только что шел по росе, задевал плечами мокрые кусты. Его лицо с молочным румянцем, густыми ресницами, светлыми и жесткими глазами было бы красивым, если бы не нагловатая полуухмылка, которая что-то отнимала у него слегка попорченными передними зубами. Считали Меженина везучим бабником, неисправимым сердцеедом, повсюду заводившим неизменно удачливые связи, стоило лишь батарее задержаться на день или два под крышами. Он не скрывал этого, носил в нагрудном кармане коллекцию фотокарточек, исписанных трогательными строчками, и, захмелев, порой хвастливо говорил, что коли уж его судьба смертью обманет, то бабы по нему жалостнее жены на всей Украине и Польше поплачут, что-что, а вспоминать сержанта Меженина будут. Но был он и везучим командиром орудия – пришел во взвод в дни форсирования Днепра, ранен не был ни разу, и награды нетрудно находили его, не затериваясь в долгих госпитальных поисках.

Меженин, загадочно щурясь, небрежно бросил руку к виску, усмехнулся:

– Гутен морген, товарищ лейтенант, одно дело к вам есть. Посоветоваться не мешало бы. А?

Никитин посмотрел на сырые сапоги, на потемневшие в росной влаге погоны командира орудия и удивленно спросил:

– Вы что... не спали со взводом? Где вы были, сержант?

– У фашисточек не был. Хотя они, стервочки, сами лезут, – заговорил с дерзкой твердостью Меженин, нисколько не оправдываясь, а только уточняя дело. – Идешь по улице, а они из окон пальцами показывают и жесты всякие...

– И что же? Где вы были ночью?

Никитин взял с кресла ремень, приятно гладкий, отполированный, ощутил теплый кожаный запах и, наслаждаясь прежним чувством здоровья, молодости хорошо выспавшегося человека, затянул ремень на талии. Затем подвинул к боку тоже теплую кобуру пистолета, подошел

⁸ Ну, пожалуйста, входите!

к зеркалу и стал причесываться, сделав строгое лицо. Ему не хотелось сейчас выговаривать Меженину за явное его отсутствие во взводе без разрешения, портить настроение бодрого весеннего утра, и это была наигранная строгость, чтобы чем-то напомнить о пока никем не отмененной еще дисциплине, несмотря на отдых и бесприказное положение батареи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.